

Biblioteka Pedagogiczna CEN
nr inw.: KG - 318



BC KSK / 318

М. Горький

318

СТАТЬИ
О ЛИТЕРАТУРЕ
И ЛИТЕРАТУРНОЙ
ТЕХНИКЕ

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

И. А. ГРУЗДЕВА

0.30

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛЕНИНГРАД 1931 МОСКВА

3/1

СОДЕРЖАНИЕ

318

I	стр.
О пользе грамотности	3
Еще о грамотности	10
О возвышенных и „начинающих“	12
О начинающих писателях	17
Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры	26
О трате энергии	32
О литературе	36
О „маленьких“ людях и о великой их работе	47
Ударники в литературе	55
II	
О том, как я учился писать	56
Письма начинающим литераторам	87

О ПОЛЬЗЕ ГРАМОТНОСТИ

Грамотность — необходима.

Это я говорю серьезно: грамотность совершенно необходима для всех людей, а в особенности для тех, которые занимаются литературой.

Я вынужден напомнить об этом по следующей причине: молодой русский литератор, путешествуя «галопом по Европам» и посетив окрестности Неаполя, рассказывает в одной из московских газет: «Рядом — залив Адриатического моря, с другой стороны его отлично виден Везувий». Издревле ведомо, что Неаполь расположен на берегу залива Тирренского моря, и залив этот называется Неаполитанским; что же касается моря Адриатического, то оно находится в другом месте, так что молодой писатель, путешествуя «галопом», врет в карьер. А редактор газеты печатает вранье, не замечая его.

Можно бы и не обращать внимания на этот «анекдот», но мне приходится нередко видеть молодых писателей, и, к сожалению, все они более или менее предрасположены к творчеству именно таких анекдотов. И невольно жалеешь, что они путешествуют галопом, а не пешком, как это делают немецкие студенты.

Современные русские люди вообще приезжают в Европу как будто лишь затем, чтобы посмотреть, как она разваливается, и смекнуть, скоро ли рассыплется в прах и пыль. Спросишь путешественного галопом:

— Как вам нравится море?

Он гордо отвечает:

— Что у нас своих-то морей нету, что ли!

Эта гордость своими морями и презрение к чужим распространяются и на все, чем богата европейская суша. Например, — музеи. В них многому можно поучиться, многое можно понять.

Но «гордый росс», свисходительно шагая по помпейским залам Неаполитанского музея, скучно ворчит:

— Не понимаю. Не понимаю.

Казалось бы, если не понимаешь, попытайся понять; понимание, это — очень хорошее человеческое дело. А молодой российский литератор «не понимает» для того, чтобы другим ясно было: все что-то понимают, многие удивляются, а вот он, который из Москвы, — не понимает. Даже не хочет понимать.

Другой, галопирующий по залам Уффици,¹ может ошеломить таким умозаключением:

— Чорт возьми, какая масса красок истрачена!

Кроме музеев и величественных обломков древности, которые тоже хорошо учат понимать прошлое народа, его творчество, его работу, в Европе и по сей день люди работают очень много, упрямо, разнообразно. Крестьянин юга Италии работает на своей земле круглый год, а не пять, шесть месяцев, как русский крестьянин. Факт интересный и способен навести на размышления весьма поучительные. Незаметно, чтоб этот факт заставил людей размышлять, точно так же, как незаметны для галопирующих путешественников искуснейшие и тяжелые каменные работы итальянских крестьян. Вообще работа, быт не возбуждают любопытства молодых россиян. И когда читаешь их очерки путешествия, удивляешься, как мало люди видели и как плохо видели то, на что взглянули с практической целью — описать. Очень мало обнаруживают интереса молодые путешественники к прошлому и настоящему чужих стран!

Возможно, что есть вещи, не зная которые приятнее, чем зная. Но я за то, чтобы узнать все. Писатель обязан знать как можно больше.

Молодые писатели мало знают. Очевидно поэтому они плохо усваивают сходства и различия между вещами, звуками, красками, явлениями природы.

«Верней клади ступень ноги», — советует один поэт, не замечая некоторого несходства между ступней ноги и ступенью лестницы.

Другой рассказывает:

«Бренчит пролетка запоздалым цокотом», — у этого нет ясного представления о звуках; он не понимает, что брехать и цокать пролетка не может, что цокают подковы лошади, а не пролетка.

Прозаик пишет:

«Он щелкнул щиколоткой калитки» вместо — щелкнул.

Другой:

«Мальчишки влезали на крышу по оглоблям бочек» — речь идет о пожарных бочках; но читатель имеет право думать, что писатель видел бочки, которые были скреплены вместо обручей оглоблями.

Третий пишет:

«Степка перестал вертеть задом кадушки».

Четвертый:

«Собака вертелась вокруг своего хвоста, скусывая ремень».

Пятый:

«Он принял ее рассказ многозначительно».

Это напоминает мне фразу из эмигрантской газеты «Руль», тоже очень малограмотной:

«Дожди в Бразилии распределены благоразумно».

Иногда молодые литераторы пишут трогательно: «У него на левом глазу гляделось бельмо. Для своей же матери он был красивей всех детей на свете. Ни за какие бриллианты и золото не рассталась бы она с этим бельмом».

И так прелестно пишут:

«А полночь уже заводила свои звездные часы граненым каючиком частого сентябрьского сверчка».

Почти все эти прелести выписаны мною из первых двух номеров журнала «Октябрь» за 1927 год. В журнале этом один из его сотрудников пишет таким языком:

«Это огромный минус, через пару лет он сведет на-нет все наши плюсы». «Октябрь» редактирует старый опытный литератор А. С. Серафимович. Он, конечно, может указать мне, что и «зрелые» писатели тоже частенько грешат против русского языка, что в романе М. Шагинян есть: «длинногорлышевая бутылка», «подливки, жаоеные на сковородках», и много других чудесных вещей; что у Пильняка «рис, так же как и хлеб, может вариться различными способами», что, наконец, Георгий Гребенников в журнале «Вольная Сибирь», кн. 1, стр. 75, пишет так:

«Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобрявший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, ни Г. П. Потанин, надеявшийся, что я подниму его, потанинское, знамя, — никто не сделал из меня своего честного последователя».¹

¹ Хотя это звучит как покаяние, но в этой форме автор должно быть выказывает гордость своей независимостью.

¹ Картинная галерея во Флоренции. Ред.

Можно указать еще не мало различных «описок» из произведений именитых литераторов, но эти описки, ошибки и небрежности никого не оправдывают.

Заметно, что молодые поэты не читают своих товарищей-прозаиков, а прозаики не читают поэтов. Отношения строятся как будто только на знакомстве личном или на чтении рецензий, которые редко пишутся людьми, не умеющими внимательно читать пишущих небрежно, не убедительно и без сознания ответственности перед читателем.

Молодой писатель присылает образцы своего творчества и среди них — рецензия с недопустимым указанием на инородческое происхождение автора рецензируемой книги. Когда его спросили письмом: как же он не понимает, что таких штук нельзя делать? — он ответил: «Я еще обучаюсь».

Но, обучаясь не понимать, он уже пишет строжайшие рецензии о товарищах, а, мягко выражаясь, «снисходительные» редакторы печатают их.

Спрашивая литераторов о литераторах, слышишь в ответ не характеристики творчества, а такие оценки:

«Славный парень». «Веселый». «Здоровый». «Поет». «Бабник».

Это напоминает мне Р. М. Рильке; когда его спросили: что он думает о Питере Альтенберге — он сказал:

«Кажется, я с ним однажды завтракал на Пратере».

Сейчас молодая литература является коллективным делом класса, который взял в свои руки, в свою волю власть над огромнейшей страной и энергично, успешно создает в ней новую культуру, новый быт. Эта работа должна иметь, — и она имеет! — неоспоримое воспитательное значение для трудящихся всего мира. Русский рабочий класс вправе сказать, что он наполняет понятие «общечеловеческое» действительно общечеловеческим содержанием. Необходимо, чтобы в каждой отрасли труда творчества, несмотря на различие индивидуальностей, была ясно видна и чувствовалась дружная, коллективная, единая сила.

От бесед с литераторами и чтения журналов определенно веет затхлостью злейшей «кружковщины», вредной замкнутостью в тесных квадратах групповых интересов, стремлением во что бы то ни стало пробиться в «командующие высоты». Это особенно характерно в таком учреждении, как «Леф», где несколько самохвалов пытаются смутить молодых литераторов проповедью ненужности художественной литературы.

Если А принадлежит к группе Б, то все другие буквы алфа-

вита для него или враждебны или не существуют. Это бывало и раньше, но не так и не в такой мере. «Реалисты» и «символисты» тоже недолюбливали друг друга, но у них для этого были, пожалуй, более основательные причины. Леонид Андреев в одном из своих писем весьма не плохо сказал, что символисты «фабрикуют литературу для купцов, пересаживают Верлена в Замоскворечье Островского, где толстым людям надоело играть в шашки и в стучолку». «Реалистам» было вполне понятно, почему профессор Е. Аничков публично радуется исчезновению с книжного рынка «зеленых сборников» «Знания»¹ и почему на место их являются альманахи другого тона. Но враги читали и знали друг друга, и если А. А. Блок писал рецензию, скажем, о Горьком, так Горький в этой рецензии находил кое-что технически полезное для себя. Враг — хороший учитель. Казалось бы, что и друзьям тоже следует читать и знать друг друга, что друг тоже должен быть хорошим критиком. Этого не замечашь.

Например, А. С. Серафимович решительно говорит о Герасимове и Кириллове: «Погибли». Думаю, что старый писатель слишком торопится вычеркнуть из литературы этих талантливых поэтов-рабочих. Столь суровое заявление уже не критика, а что-то похожее на «смертный приговор». Я нахожу, что так швырять людей нельзя и что такие приговоры — дурной пример для молодых критиков.

Весьма возможно, что некто Ханин, человек явно и слишком молодой, руководствовался именно таким примером в заметке «О творчестве Иосифа Уткина», напечатанной в журнале «На литературном посту». Обвиняя Уткина в «мелко-буржуазном уклоне», он говорит: «Нет человека вообще, а есть человек, принадлежащий к тому или иному классу». Открытие не очень новое. Но я разрешу себе сделать к нему некоторую еретическую «поправку», что ли! В коммунистической партии есть не мало пришельцев из других классов; это Ханину, наверное, известно. Основоположник и гений партии — не рабочий. Кроме «классового сознания» есть еще сознание истинности и творческой силы классового сознания, сознание его исторической необходимости быть творцом нового государства, новой культуры. Именно это сознание вовлекло в жизнь рабочих людей иных классов и дало им силы организовать партию. Коммунизм именно потому действительно, единственно и насковзь революционен, что ставит

¹ «Сборники Товарищества „Знание“ — литературные альманахи, выходявшие в период 1903—1912 гг. Около них группировались крупнейшие силы писателей-реалистов. Выходили в оловке светлозеленого цвета. *Ред.*

целью своей уничтожение классового общества, классового человека.

Против «общечеловеческого» в старом смысле этого слова писатель и критик — коммунисты должны бороться, это неоспоримо; но это — борьба против низкой оценки человека, против неуважения к труду, против физической и умственной лени и безразличного отношения к действительности, против самозавальства, против неуважения к женщине и мещанского распутства, которое ошибочно именуется «скотским», ибо скоты не распутны; борьба против всех тех гнусных пороков, которые привиты всем нам классовым государством. Все эти мерзости и множество других — «общечеловеческое», но старое и обреченное на гибель.

В мире уже создается другое общечеловеческое, старое понятие наполняется новым смыслом. В отношении к этому факту завет: «Не вливайте вино новое в мехи старые» — неуместен, ибо здесь и вино и меха одинаково новы. Казалось бы, что в стране, где рабочий становится полным хозяином государства и где среди множества «общечеловеческих» негодников вырастает все более людей поразительной творческой энергии, душевной чистоты и талантливости, — в этой стране следует очень хорошо помнить о возникновении нового и настоящего общечеловеческого.

Неправилен и протест Ханина против слога Уткина:

«Кипит, цветет отчизна,
Но ты не можешь петь.
А кроме права жизни
Есть право умереть».

У людей, которым «не по душе» «кипение и цветение отчизны», которые сами себя признают негодными для того, чтобы жить и работать, — у этих людей нельзя отнимать права умереть. Эмигрантам Ханин, наверное, не откажет в признании за ними права умереть?

Отношение к молодым и начинающим писателям не бережно, недостаточно заботливо и внимательно. Критика учит их политграмоте, тогда как должна бы учить литературной технике. Для обучения политграмоте есть люди более осведомленные и талантливые, чем критики и рецензенты. «Леф» убеждает молодежь не учиться у классиков совершенно напрасно. Литературной технике и языку надобно учиться именно у Толстого, Гоголя, Лескова, Тургенева, к ним я прибавил бы и Бунина, Чехова, При-

швина. Бояться идеологической заразы — значит не верить в силу классового самосознания.

Литераторы, из рассказов которых я взял малограмотные фразы, не должны обижаться на меня, ибо у меня нет намерения высмеивать их. Я неспособен на это, потому что в свое время сам испытал мучительный стыд малограмотности. Через головы молодых писателей я обращаюсь к редакторам журналов, в которых напечатаны рассказы с подчеркнутыми мною недопустимыми погрешностями против техники дела и против языка.

Как же читаются рукописи, если возможны такие обмолвки, описки, ошибки? Редактор, это — человек, который в известной мере учит писателя, воспитывает его, как воспитывал Салтыков-Шедрин Сергея Атаву-Терпигорева, как помогал встать на ноги Осиповичу-Новодворскому и целому ряду других писателей. Так же отлично воспитывали молодежь В. Г. Короленко и А. Горнфельд, делали эту работу Викт. Острогорский, А. Богданович, Викт. Миролюбов.

В наше время обязанность редактора — помогать начинающему писателю — особенно ясна, и редактор должен быть еще более богато технически вооружен, чем названные мною редакторы дореволюционных журналов. Не говоря о том, что редактор должен знать больше писателя, он должен непрерывно учиться своему делу. У нас развивается процесс небывалый никогда и нигде — в литературу идут сотнями люди от сохи и от станка, но это — вовсе не много для страны с населением в полторы сотни миллионов. У многих молодых есть несомненные таланты. почти у всех — огромный жизненный опыт, какого не было у писателей моего поколения, у людей, которые проходили в литературу сквозь гимназию, университет, от хорошей книги, т. е. технически вполне подготовленными к делу. Я мог бы назвать среди старых писателей несколько человек, совершенно лишенных таланта и все-таки сделавших себе почтенное имя и хорошо послуживших русской литературе, благодаря только отличному знанию языка. А сейчас существуют десятки крупно даровитых людей, которые почти не могут толково писать по причине своей технической беспомощности. Вполне возможно, что эти таланты погибнут, не сумев сделать того, что они могли бы сделать прекрасно и прочно, надолго.

Необходимо больше внимания к молодым литераторам, больше заботы о них!

ЕЩЕ О ГРАМОТНОСТИ

Прислал начинающий автор рукопись рассказа и в письме, приложенном к рукописи, сообщает:

«Рассказ понравился самому Фриче и одобрен Государственным ученым советом».

В рассказе 250—300 газетных строк, а суть его в том, что «бабушка насквозь пропитанная старым режимом», пошла вслед за внуком своим, пионером, на какой-то советский праздник: там рабочие-булочники чудесным образом догадались, что она — мать Семена, который был «мастером первейшей руки по французскому тесту», догадались и собрали ей «три червонца и еще мелочью три рубля семнадцать копеек», после чего бабушка «закапала крупными, радостными слезами».

Автор умолчал о том, на сколько процентов понизилась в «капающей» бабушке пропитанность «старым режимом». Рассказ сочинен с целью прославить внука, маленького подхалима, который удивительно напоминает читателю благонравнейших мальчиков «детской литературы» 80—90-х годов, когда издавался журналчик «Ватрушечка» и на каждой его странице изображались именно такие вот отвратительно прелестные мальчики, как этот внучек «капающей» бабушки.

Написан рассказ, одобренный, — по словам автора, — «самим Фриче и Ученым советом», в таком тоне:

«Бабушка Анисья насквозь пропитана старым режимом, живет на «способие» — за сына покойного и на внука каждый месяц получает.

«Бабушке Анисье на седьмой десяток и тяжело ей ходить по божьей земле. Но пожить бы надо — мал еще внучек Костюшка, всего только девять годков сравнялось.

«Сегодня бабушка Анисья Ипполитовна обедню отстояла, сынка родного, Костюшкиного отца, за упокой помянула, и на душе легче стало, только уморилась — крепости нет в ногах, да башмаки тяжелые, давние они, башмаки-то, у бабушки...

«Пугливо озирается бабушка по сторонам — больно шумно в Москве, потому завтра тоже большой праздник, только не бабушкин, а Костюшкин.

«Озирается бабушка Анисья, а сама шепчет о чем-то, должно быть о Костюшке: умный у ней Костюшка и родни только что он один».

И таким «маслицем», таким паточным языком сделан весь рассказ. Словечки автор подобрал мягкие, «трогающие за душу»:

«хлебце», «младенчик», «маслице», «кусочек», «батка». Но революцию бабушка называет «грехоманией», — это, конечно, выдуманно автором, сама бабушка столь мудрого слова выдумать не могла.

Язык рассказа таков: «Обедали селедку с луком и уксусом, потом — картофель в мундире». «Отец-то его в роде с ума свихнулся под горячку» и т. д. все в этом роде.

Проклятая эта бабушка, обнаруживая полную беспомощность автора, упоминается по десяти раз в пятнадцати строчках, а всего имя ее встречается около двухсот раз на двадцати страничках рукописи. Читаешь и все: бабушка, бабушки, бабушку...

Тот факт, что «Ученый совет одобрил» рассказ, конечно, на совести автора. Но боюсь, что автор не погрешил против истины и что комиссия по детской книге при Государственном ученом совете действительно «одобрила» рассказ. Из поданного Ленинградским отделом заявления в коллегию Наркомпроса явствует, что в комиссии этой сидят люди, суждения которых о литературе совершенно не обоснованы и безответственны, а огонь, воду люди эти считают «абстрактными понятиями».

Каждый раз, когда сталкиваешься с такими удивительными проявлениями анекдотической безграмотности, она кажется не простой безграмотностью, а «нарочной», злостной, она вызывает такое впечатление, как будто люди сознательно стараются скомпрометировать педагогическую деятельность Советской власти. Я подчеркиваю: именно такое впечатление получаешь, читая отзывы комиссии, бракующие хорошие книги для детей.

«Мало художественно», «далеко от художественности», «мало интересно», «не интересно». А почему «мало художественно», «далеко от художественности» — комиссия умалчивает. Умолчание — недопустимое. Если комиссия хочет видеть книги для детей «много» художественными, она должна бы объяснить, как «много» и какой художественности она требует от бракуемых ею книг. Мне кажется, что представление о художественности для комиссии — не ясно. Меня убеждает в этом факт, что комиссия бракует некоторые книги на том основании, что видит в них «вымысел».

Сказка о «Ковре-самолете» — тоже вымысел, также как древний миф о первых людях, полетевших по воздуху, — Дедале и сыне его Икаре. Этот «вымысел» был вызван к жизни стремлением человека летать. Комиссия, вероятно, знает, что ныне «вымысел» — реальность, осуществляемая на фабриках аэропланов. Подводная лодка Жюль-Верна — тоже вымысел. Полеты на луну — безумнейшая фантазия, но в наши дни к ней готовятся

совершенно серьезно. Вымыслом является Архимедов бесконечный винт, ткацкий станок, паровоз, динамомашинка, двигатель внутреннего сгорания. То, что называется культурой — насквозь человеческий «вымысел». Искусство живет вымыслами, наука — реализует вымыслы. Именно вымыслы и домыслы поднимают человека над животными. Черви и быки навсегда пребудут такими, каковы они есть, потому что лишены способности мыслить — «вымышлять», «домышлять». «Художественность» без «вымысла» — невозможна, не существует. И если комиссия по детской книге хочет, чтобы в новой России выросли действительно новые художники, новые творцы культуры, — она не должна отрицать «вымыслы», убивать в детях фантазию, ибо люди уже научились претворять свои фантазии-«вымыслы» — в действительность, и было бы преступно стремиться погасить в детях это свойство человека — творческое свойство.

О ВОЗВЕЛИЧЕННЫХ И „НАЧИНАЮЩИХ“

Сердечно благодарю всех, кто поздравил меня: рабочих, старых товарищей большевиков, комсомольцев, литераторов, ученых, рабкоров, селькоров и прочих людей, родных мне по духу, по работе. Особенными и необыкновенными словами хотел бы поблагодарить детей-школьников, но таких слов не могу найти. Скажу просто: спасибо вам, ребята, спасибо! Знаю, что из вас вырастут сотни людей более значительных, чем я.

В эти дни мной получено более двухсот телеграмм и, вероятно, столько же писем. Это — много, и этого я, конечно, не ожидал. Горжусь тем, что рабочий народ, партия коммунистов и советская интеллигенция признает работу мою полезной. Это «омолаживает». Некоторые поздравители именуют меня «великим». Не сомневаюсь, что это — искренно, но должен сказать, что это — лишнее слово в песне. Я — человек совершенно нормального роста и никакого величия в фигуре моей не чувствую. Могу, пожалуй, признать, что я хороший работник, потому что люблю свой и всякий труд. Но и в этом я — человек, каких немало есть, много растет и каким должен быть всякий рабочий. Чин рабочего считаю высоким чином, выше его только чин «научного работника».

Писатель я тоже не «великий», а такой, каким должен быть

каждый из начинающих писателей в наши дни. Сейчас еще рано говорить о великих художниках слова. Они были в прошлом, у них молодежь¹ должна учиться; я совершенно убежден, что рабоче-крестьянская масса создаст и выдвинет их в близком будущем, а до того можно говорить только о хороших и плохих литераторах. Меня вполне удовлетворил бы чин хорошего литератора, а титул «великого» мы похерим.

Я, вообще, не боязлив, но «величие» пугает меня. Старый воробей, я хорошо знаю вкус мякоти и к тому же немало видел и вижу людей, склонных величаться. Склонность пагубная для величаемого и величающегося и, разумеется, очень неприятная для тех, кто окружает его. Боюсь, что чрезмерность похвал заразит и меня этой болезнью, а она разовьется до «мании величия», после чего меня посадят в дом умалишенных. Хорошенький «конец карьеры»!

Наверное эта воркотня кое-кого рассмешит, и многие заподозрят меня в рисовке, в неискренности. Пускай смеются и пусть подозревают в чем хотят, но — выслушают.

Я получаю десятки писем от рабселькоров, от провинциальных литкружков, от «начинающих» писателей. Они единогласно требуют: «Поделитесь вашим опытом, научите писать художественно». Они имеют законнейшее право требовать от старого писателя ознакомления их с техникой работы. К сожалению, я не умею учить, а могу только рассказать, как сам учился, о чем — в скором времени — и расскажу молодежи. Серьезность ее требований неоспорима, об этом лучше всего говорит сознание молодыми литераторами своей технической слабости, сознание ими трудности и важности дела, за которое они хотят взяться. Людям этим есть, что сказать, они — люди «нового опыта», люди, для которых многое из проклятой мещанской старинки уже не понятно, а кое-что органически чуждо и враждебно. Не удовлетворяясь писанием корреспонденций и заметок в газеты, «черной» работой обличения дрянных житейских мелочишек, молодежь инстинктивно понимает необходимость осветить именно «художественным» словом засоренную почву, на которой произрастает бытовая дрянь и плесень. Однако из этого не следует, что они уклоняются от «черной» газетной работы, что им непонятна важность этой работы.

«Вы, товарищи, называли нас «ассенизаторами», — пишет мне, один из рабкоров. — Словечко, как будто, обидное, но, подумав, понимаешь: правильно. Мы — чернорабочие, новые метлы, кото-

¹ В марте 1928 г. М. Горькому исполнилось 60 лет. В статье говорится о поздравлениях в связи с этой юбилейной годовщиной. *Ред.*

рые обязаны чисто вымести из жизни все плохое. Конечно, на этом деле быстро ошаркаешься, отреплешься, да, но — все-таки делать его надобно».

Другой сообщает: «Ясно, что ногтями коросту грязи не соскребешь, тут требуются горячий пар и кипяток, тут надобно действовать, как Щедрин. Недавно прочел я две его книги Госиздата; эх, думаю, вот бы этак научиться писать, хотя у него не все понятно, и язык тяжелый, а история города Глухова и сказки — замечательно написано».

Третьему рекомендовали учиться писать у Неверова, и он совершенно правильно говорит: «По-моему, этот писатель вялый и скушный, учиться у него нечему, все известно, и факты, и язык тоже. Мне больше нравится Сергей Семенов и Мамин-Сибиряк, особенно этот, у него книга, как яичко, вред капитализма он понимает насквозь, и красоты достаточно».

Таких мнений я мог бы привести не три, а десятки, и все они говорят о том, что рабоче-крестьянская масса, — как и следовало ожидать, — выдвигает из среды своей интеллектуальную силу, которая через десяток лет должна будет взять в свои руки прессу и литературу Союза Советов.

Мне хорошо известно, что среди «начинающих» есть недомки; они полагают, что уже достаточно учены и даже гениальны; есть ребята, ошибочно думающие, что «сочинительство» — легкий труд; есть уже больные «графоманией», есть, наконец, парни, которые пишут только красными чернилами, и притом такое: «Вы разрушили мою знаменитую формулу: все люди — свиньи». В положении и возрасте этого «формалиста» я тоже, наверное, писал такие штуки.

Или пишут:

«Вы говорите, что я плохо наблюдаю. О, как я ненавижу этого Тургенева! Он «изволил» тратить свое время на изучение природы».

Или:

«Я знаю, что неуч, но боюсь заразиться буржуазной культурой».

Есть уже ребята, заявляющие, что могли бы «несколько исправить теорию относительности Эйнштейна», «внести в физическую науку выпрямляющие линии», и вообще есть немало скороспелых ученых, философов и различных пустобрехов. Большинство их — осколки «общества», разрушенного революцией, человек, который боится «буржуазной» культуры — сын кожевника заводчика, поправки к теории Эйнштейна желает внести сын банковского чиновника и т. д. Уродцы такого типа всегда были,

основным их качеством является желание поскорее выскочить вперед, быть заметными во что бы то ни стало. Они, на мой взгляд, не характерны для общей массы тех ребят, которые по примеру одного философа древности требуют:

«Бей, но выучи!»

Эти люди заслуживают глубочайшего внимания и всяческой помощи, ибо, повторяю, они — интеллектуальная сила трудового народа, будущие «хорошие» журналисты, писатели, люди революционно-культурного дела и оплот против вновь начинающих квакать лягушек и жаб мещанства.

Бить их — бьют охотно, но учат — плохо и почти всегда — жестоко.

Это — один порядок моих впечатлений.

Другой — таков:

Литератор, немолодой, признанный и достаточно возвеличенный, обиженно пишет другому литератору:

«Вы рекомендуете какого-то»...

Книгу «какого-то» писатель не читал, и, очевидно, не знает, что о ней были опубликованы положительные отзывы рабочих. Думать надо, что отзывы эти печатались не по соображениям издательским, рекламным. Не читал, но уже с высоты своего величия пренебрежительно именует незнакомого ему «начинающего» — «каким-то».

Факт — ничтожный, будь он единичным. Но, к сожалению, факты этого сорта многочисленны. В них совершенно определенно чувствуется аристократическое отношение признанных и возвеличенных к «начинающим». Лично я считаю этот «аристократизм» мещанством и подозреваю в нем замену литературной совести профессиональной завистью. Чувствуется тут и явное самонимение обласканного мещанина и даже, может быть, его страхок не удержаться на позиции, куда его поставили неосторожные и торопливые критики, убежденные, что это именно они фабрикуют талантливых и «гениальных» литераторов. Не находя другого слова, я называю «литературной совестью» чувство удовлетворения, возникающее каждый раз, когда масса трудящихся родит и выдвигает еще одного младенца с признаками таланта в той или иной области труда.

Этого удовлетворения, этой радости о том, что «нашего полку прибыло», я не замечаю в отношении ославленных писателей к «начинающим». Мне кажется, что — как всякий труд в Союзе Советов — литература должна быть тоже трудом коллективным,

дружеским, трудом, для успешности которого необходима взаимная, товарищеская поддержка трудящихся.

Почтенные «собратья по перу», на мой взгляд, слишком быстро опиваются славой и слишком густо подчеркивают величие своих «я». К сведению «начинающих» должен сказать, что слава — жидкость мутного цвета, кисловатого вкуса, и что она, в большом количестве, действует на слабые головы плохо, вызывая у принимающих ее тяжелое опьянение, подобное «пивному». Принимать эту микстуру следует осторожно, не более одной чайной ложки в год; усиленные дозы вызывают ожирение сердца, опухоли чванства, заносчивости, самомнения, нетерпимости и вообще всякие болезненные уродства.

«Без драки не проживешь», — говорил В. И. Ленин. Он всегда говорил то, «что надо», — прекрасная привычка была у него!

«Мы не отрицаем наследства», — сказал он лет 35 тому назад и всю жизнь свою, всю свою работой доказал, что действительно не отрицает ничего ценного в буржуазной культуре. Мне кажется, что самым ценным в ней он считал технику, «мастерство» во всех областях труда, и в области литературы тоже.

Да, «без драки не проживешь». Поэтому разногласия, существующие между литературными группами, вполне естественны. Они были бы гораздо более поучительны и полезны, если б «признанные таланты» и литературные пастыри не заостряли их своими самолюбиями, своим чванством и не вносили в них тот страх потерять свои позиции, о котором я говорил выше. Известно, что «тон делает музыку». Представители отдельных литературных групп ведут прения между собою в тоне, недостойном товарищей, людей, которые делают единое, коллективное дело. Если бы литературные споры велись в тоне, более строгом идеологически, более серьезно и спокойно, менее форсисто и без грубых личных выпадов, — провинциальные литературные кружки не писали бы таких вот справедливых заявлений:

«Одним из препятствий к нашей учебе является резкая борьба литературных групп и направлений. Очень трудно писать, да еще учиться писать, в непрерывных драках и подсиживаниях».

Таких жалоб я знаю много, и все они определенно говорят, что благодаря тону спора смысл его молодежи не ясен, а вот взаимное «подсиживание» молодежь отлично чувствует. И это — естественно, потому что личное начало в спорах звучит слишком ясно и настолько противно, что один рабкор пишет прямо: «... честной пролетарской душе хорошо слышен в этом шуме базар, торговлишка».

Если мы действительно хотим создать новые, более «человечные» взаимоотношения среди людей, мы, очевидно, должны начать создание «новой культуры» в своей среде. Новая культура начинается с уважения к трудовому человеку, с уважения к труду.

Не всякая ошибка и обмолвка уже ересь. Но вот цитированные Бухариным стихи Маяковского:

И когда мне говорят, что труд еще
и еще,
Будто хрен натирают на заржавленной
терке,
Я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»

Вот это действительно злейшая ересь, потому что это — мешанский анархизм. А когда Безыменский мечет деревянные молнии в человека и говорит ему:

Ты, братец, грома недостои
И недостои кулака —

это — на мой взгляд, — хулиганство.

О НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЯХ

Недавно в журнале «Читатель и писатель» было сообщено, что у нас, «по самым скромным подсчетам, людей, имонующих себя писателями, 15 тысяч человек». ¹ Разумеется, это не очень много для страны с населением в 150 миллионов, но нельзя не сказать вместе с автором сообщения т. Белецким:

— «Лучше поменьше, да — получше».

Усердно наблюдая за работой этой массы потребителей бумаги и чернил, я, с великим сожалением, должен признать, что основными качествами большинства их являются два: малая грамотность и великое самомнение. Вот несколько иллюстраций грамотности, беру их по одной из различных книг:

«Вавилонская башня, у которой смешались языки».

«Отец умер, когда ему было девять лет».

«Она ему нравилась с головы до кончика ножек» — если она — не инвалид, так у ее ножек два «кончика».

¹ Статья написана в ноябре 1928 г. Ред.

² Статья о литературе и литературной технике.

«Он отказал рабочему, у которого умирал ребенок в неизвестном авансе».

«Бывало бы, когда еще бабы домотканые сарафаны носили, а мужики штаны и рубахи посконные туда сюда, а теперь обойди все Синеборье наредь в какой избе стан увидишь, ситцем да миткалем обходились, а как пришла нужда и о нем вспомнили».

Очевидно, литератор этот убежден, что пишет «народным» языком. Но что значит «бывало бы»? Почему не сказать вместо «наредь» простое — редко? «Наредью» именуются крупнопетельная сеть, а также половики. «Станом» в некоторых губерниях зовутся четыре колеса телеги.

Знание русского языка у нас отчаянно плохо. Молодой поэт пишет: «Может быть, вы будете смеяться около моих стихов».

Увы! Даже признанные поэты пишут стихи так, что можно смеяться, например:

«О, вещи! Дано вам могущество власти, дано вам отталкивать, радовать, сечь». Должно быть, поэта мало секли и он не знает, что стулом, шкафом или сундуком — не секут.

Рецензент упрекает стихотворца в том, что стихотворец «нагоняя лишние строчки «рубит» стихи».

...Товарищ писатель,
как никак,
как ни кричи
и не хныкай,
на наших заводах
и рудниках
имеется ваша
книга...

«Итого восемь строк!

«Зачем это? Гораздо проще было бы написать и для удобства читаемости и, наконец, просто из этических и эстетических побуждений:

„Товарищ писатель, как-никак
К к ни кричи и ни хныкай,
На наших заводах и рудниках
Имеется ваша книга.

«Кто станет доказывать, что в содержании, музыкальности, красоте расположения и т. д. «рванные строки» выигрывают?»

Но критик не замечает, не слышит, что «как ни» не только в повелительном наклонении, но и фонетически не «музыкально». Могут указать: в первых строках «Воскресенья» Лев Толстой

трижды в одной фразе допустил «как ни». Но в этом случае даже и Толстому не следует подражать.

Молодые писатели ничего, кроме газет, не читают и, оглушенные сухим треском языка статей газетных, совершенно не слышат звуковых капризов языка живой речи.

Указывая одному литератору, автору большого романа, на то, как из двух слов, неосторожно поставленных рядом, образуется ненужное и, часто, смешное третье, я напомнил ему поговорку: «Кишка кишке кукишь кажет». Он опубликовал беседу со мною и повторил поговорку в таком виде: «Кишка кишке кажет кукиш», не заметив, что из двух последних слов поговорки в третий раз образована «кишка-же», — игра языка, которая и делает поговорку интересной помимо ее образности. Такая глухота весьма обычна у молодых писателей. В одной рукописи читаю:

«Сняв комнату на день раньше ее»...

В другой:

«Он писал стихи, хитроумно подбирая рифмы, ловко жонглируя пустыми словами», — автор не слышит в своей фразе хихиканья, не замечает «мыло».

Третий пишет:

«Сквозь чащу кустарника продирался мокрый Василий и истошно кричал: «Братцы, шуку пымал, ей-богу!» Первая шука — явно лишняя. Признаки такой глухоты неисчислимы в «творчестве» начинающих писателей.

Социальная их малограмотность кажется еще ниже литературной. Историю литературы они не знают, классиков читают мало, действительность изучается ими по газетам и как будто лишь для того, чтоб выудить из газетной статьи тему для стихиков «на злобу дня». Их письма ко мне и записки, которые они подают на собеседованиях со мною, поразительно анекдотичны. Так, например, один из них жалуется:

«Я написал:

Шумит весной зеленый бор,

Гудит зеленый бор весной,

а редактор сказал: это из Некрасова, которого я не читал еще. Как реагировать на ошибку редактора?»

Можно бы посоветовать: прочитайте Некрасова, но на записки такого рода обыкновенно не отвечаешь, не желая, чтоб стихотворца осмеяли. Довольно часто спрашивают:

«Неужели для писателя необходимо иметь дарование или талант?»

Или так:

«Что же должен делать каждый писатель, чтобы прийти до конечного оформления? Неужели нужно изучать математику, астрономию и еще нечто в этом роде?»

Есть и такие вопросы:

«Каков ваш взгляд на женщин-писателей, действительно ли они писатели?»

Записки, которые подавались мне на собраниях в разных годах, делятся на две группы. В одной преобладают интересы, так сказать, ремесленного, «цехового» характера: заявления обид на редакторов, на соответствующие литературные группы, на недостаток в «советской общественности» внимания к молодой литературе. Спрашивают: «Кака вы смотрите на успех Ф., не рано ли его хвалят?» «Почему не напишете в защиту Есенина против идиотских нападок на его поэзию?» «Правда ли, что Ан. Франс псевдоним Жореса?» «Считаете ли вы Короленко классиком?» «Кто был вашим учителем, кроме Толстого?» «Верите ли вы в бога?» «С чего вы начали писать — с желания заработать или это ваше призвание?» «Трудно учиться написать, когда тебя писатели не подпускают на 10 шагов.» «Одемянили литературу. У нас в Грузии искусственно создают, а потом поощряют бездарных «пролетписателей», которых мы не читаем. Заговорите об этом где следует. Рабочий.»

Невольно думается: какой... странный рабочий!

Записки второй группы гораздо интереснее, в них преобладают вопросы о литературной технике.

«У кого из классиков следует учиться рабселькорам?» «Как надо писать, длинными или короткими фразами?» «Как стать хорошим и верным писателем?» «Что бы вы предложили для улучшения работы селькоров?» «Верите ли вы, что из рабселькоров могут выйти художественные писатели?» «Чего вы ждете от рабселькоров? Просим написать об этом. Группа раб. сельк.» «Не гонятся ли писатели за новыми формами в ущерб интересу масс читателей?» «Напишите книгу о том, как надо писать.»

Много спрашивают о положении рабочих в Италии. В Харькове спросили: «Как вы теперь смотрите на опасность для рабочего класса быть захлещутым крестьянской стихией?» Вопрос этот был повторен в Тифлисе и Казани, но, к сожалению, я потерял записки и не помню формы вопросов.

Сопоставляя эти две группы записок, я получаю вывод неожиданный, даже, как будто, парадоксальный: записки рабселькоров внутренне культурнее, а по интересам — шире, чем за-

писки людей, которые, очевидно, уже считают себя «цеховыми литературного цеха».

Люди этого «цехового порядка» обладают, кроме узости социальных интересов, непомерно высоким самомнением и болезненно повышенной чувствительностью художочных барышень. Написав маленький рассказец или напечатав два-три прилично рифмованных стихика, они уже прегордо говорят о своем творчестве и, если редактор отказывается печатать «творчество», истерически жалуются:

«И я ушел, ушел, как побитый пес, ошпаренный кипятком».

Пес — плохо выдуман. Если его побили, он не уйдет, а убежит, не ожидая, когда его еще и ошпарят, если же его ошпарили, он тоже не станет ждать, когда его еще и побьют. Другой юноша, тоже уязвленный равнодушием редактора, кричит: «Я взывал о человеческом подходе отнюдь не ко мне, а к своей вещи, которую я писал кровью. Вот и толкуйте, А. М., о качестве социалистического человека. Какой же это, к чорту, социализм!» Указав одному писателю, что журналов у нас мало и редакторы перегружены сотнями рукописей, не успевают их читать, я получил такой ответ:

«Это меня не касается. Их посадили на работу, и они должны работать, а не доводить людей до мысли о самоубийстве». Самоубийством угрожают довольно часто. Редакторы, в изображении начинающих писателей, — ехиднейшие люди и жесточайшие ненавистники литературы. Высота самомнения молодых писателей очень хорошо выражается нижеприведенными цитатами из двух писем с разных концов Союза.

«Будучи одарен природою талантом, я требую обратить на меня исключительное внимание. Зная, что вы не жалуете времени на возню с бездарностями в роде» и т. д.

«Я писатель из крестьян, представитель самой густой массы населения и значит имею право на преимущество. Рассмотрите рукопись мою немедленно».

Таких изъявлений испанской гордости — не мало, но хотя они и забавны по форме, выписывать их все-таки скучно.

Но вот один из оскорбленных испанцев, утверждая, что его очерки печатались в провинциальной прессе и даже будто бы в «Комсомольской правде», рассердился на издательства, которые не хотят купить очерки его, и пишет мне нечто весьма характерное:

«Из сотни начинающих и подающих надежды, сотня и выско-

чила бы в люди, если бы к этим начинающим и подающим надежды не было отвратительного, хамского и высокомерного со стороны многих редакторов и равнодушного отношения писателей с именами».

Необходимо отметить, что чем более культурно малограмотен писатель, тем напряженнее и откровеннее его стремление «выскочить в люди». Вот молодой человек просит указать ему: «Каким образом можно узнать как можно скорее все, что надо знать писателю?» Эта просьба совершенно точно формулирует стремление очень многих писателей, — поскорей узнать нечто, potřebное для того, чтоб «выскочить в люди».

Казалось бы, что пора знать: в люди «не выскакивают», а выходят по пути наблюдения, сравнения, изучения. Человек десятки тысяч лет ходил на четвереньках, до поры, пока не взял в передние лапы крепкий посох знания. Но, встав на задние ноги, он невероятно быстро — в сравнении с его доисторическим прошлым — создал Гомеров, Шекспиров, Бальзаков, Ломоносовых, Пастеров, Менделеевых, Сун-Ят-Сенов, Жоресов, Лениных.

Очень заметно, что стремление к знанию слабо развито в среде начинающих писателей. Читают они мало. Поэты находят излишним читать прозу, прозаики не читают стихов, но и те и другие одинаково торопятся писать малотолковые рецензии друг о друге. Указание на необходимость изучать историю культуры встречает зазорные отклики: «Это нам не нужно, мы строим свое» или: «У нас есть своя», — точно им предлагают чужую корову доить. Нередко бывает так: пришлет поэт стишки с предложением прочитать их. Прочитаешь, напишешь ему свое мнение о его «творчестве» и получаешь в ответ письмецо в таком роде:

«В ответ на полученную почтой аттестацию стихов, могу реагировать доводами здравой логичности и убежденности в своей правоте, а именно: стихи, написанные мною, картинно отвечают духу настроения и действительности, ритм некоторых стихотворений — Леомонтовский, а прочих — душа русских поэтов-народников. О музыке говорить не приходится так как в них вложена душа человека, страдающего по настроению в жизни русского народа, как в общем, а равно в частности. Простота и наивность взгляда на жизнь и поэзию присуща всякому творчеству. Технику в передаче мысли и порывов души не признаю. Писать стихи буду продолжать, в выработанном духе своей нравственности, думаю, что не ошибусь, а раскаиваться, заранее скажу, что не придется».

А «творчество» у него такое: он сочиняет стишки «с натуры».

К ЦВЕТКУ РОМАШКИ НА БАРЖЕ

На барже, ты, приют, уют наша,
Твои знать семена по воле рока, ветром буря занесла.
Растешь, хилая, в наносной грязи у кормы.

Есть у него столь же прелестное послание — «К вереску, купленному на базаре за 3 копейки».

Другой «творец» пишет:

«Да, признаю, у меня нет таланта, а привязанность к этому делу есть и успех есть, напечатан один стишок в газете».

Печальная юмористика, очень печальная! А хуже всего то, что молодежь настолько плохо понимает действительность, как будто она, стремясь «выскочить в люди», уже совершенно выскочила из действительности и не чувствует, что живет она в эпоху величайшей революции, накануне трагических великих катастроф.

Развелось не мало пустозвонов, которые читают только для того, чтоб «возразить», прокричать о своей революционности и выскочить вперед более скромных, более серьезных товарищей. В одной статье я спросил: «Почему бы «начинающим» поэтам не придвинуться поближе к действительности, не выступать на эстрадах пивных, не послушать критику той, в большинстве, — тоже молодой публики, которая, может быть, ходит в пивные не только для того, чтоб пить, а потому что ей уже надоели серые, немые тени кино?»

Два поэта из Ялты возражают:

«Мы считаем ваш совет глубоко ошибочным и вредным, по-такающим росту есенинщины. Вы объективно оправдываете есенинщину, легализуете ее, толкаете советскую общественность на путь отказа от борьбы с нею».

Возразили, обнаружив, что читать внимательно они еще не научились и не поняли, что в пивных, также как в рабочих клубах, можно не только пиво пить, но и читать стихи. Рабочие клубы посещаются молодыми поэтами тоже не очень охотно. Крикливая расписка двух поэтов в своем правовеии покрывается заявлением «Инициативной группы поэтов Москвы», они пишут в «Известия»:

«Мы призываем к предложению А. М. внимание молодых поэтов и советской общественности. Это один из путей оздоровления эстрады. Довольно сидеть на шее Наркомпроса! Необходимо организовать «Секцию поэтов при открытой эстраде».

Но, кажется, и эти благие намерения остались только громкими выкриками. Мне рассказывали такой случай: предложили

молодым писателям приехать месяца на два в колхозы, посмотреть на работу. Предложено было 16 лицам. Тотчас же между лит. группами началась борьба «за места», возник спор: сколько человек имеет право послать та или эта группа? В результате спора в колхозы поехало двое или трое. Говорили мне еще: Мессадравотдел предложил писателям вести культурно-просветительную работу в «домах отдыха», где соединяются, как известно, очень разнообразные люди и открыто широкое поле для наблюдений. Это тоже не осуществилось почему-то. Рабочие клубы редко посещаются молодыми прозаиками и поэтами.

Интерес к действительности у начинающих писателей явно понижен, умение наблюдать развито слабо. Люди вообще и всегда несколько торопятся сделать «конечный вывод», этот недостаток особенно свойственен молодежи. Торопливость понуждает отмечать факты количественно-преобладающие, а у нас пока еще преобладают, — как везде в мире, — факты отрицательного характера. Разумеется, необходима борьба против этих фактов, необходимо беспощадное освещение их. Это могла бы сделать сатира, но среди наших поэтов и прозаиков сатирики отсутствуют — признак, что у наших писателей нет пафоса ненависти к «преобладающим» фактам.

Затем: в нашей действительности действительно необходимо отмечать, освещать, изображать все то, качественно важное, новое «положительное», что в ней неуклонно растет. Это новое плохо чувствуется начинающими писателями, очевидно потому, что они не знают старого и гораздо усерднее прислушиваются к словам, вместо того, чтоб учиться подмечать новое в делах — в драматической борьбе прошлого и отжившего с настоящим, возникающим к жизни. Они подметили бы это новое, если б следили за работой науки и за жизнью рабочих, которые, ведь, не только водку пьют, а действительно героически, в условиях сказочно трудных строят свое государство. Когда читаешь стихи современных поэтов — эти стихи поражают обилием холодной, брюсовской риторики или малокровной «революционной лирики», но в них совершенно отсутствует жанр, факт, отсутствует действующий человек. А, ведь, пора понять, что наш мир создан не словом, а деянием, трудом.

Вот один уродливый признак плохого знания прошлого: недавно я получил открытку от одного «члена ассоциации писателей».

«А. М.! У нас сейчас идет горячая дискуссия на тему «что стало с босьями Горького?» Спорят все: рабочие, комсомол, учащиеся, словом все, но до сути так и не докопаемся, что с ними

стало: то ли они все «комиссары», то ли слились с рабочим классом. Ответьте обязательно нам, а мы еще поспорим». (Подчеркнуто автором открытки.)

Возможно, что это шутка. Но тогда это одна из тех шуток, за которые шутникам треплют уши. Мне хочется думать, что «открытка» просто результат безграмотности автора ее, очевидно не знакомого с биографиями комиссаров, с их героическим прошлым, а кроме того этот «член ассоциации писателей» по своей духовной слепоте не видит работы, которая сделана и делается вождями рабочего класса.

Заметно плодятся паразиты, способные вызвать у рабочего класса различные кожные болезни. Все громче шипит обиженный историей мещанин, жаждущий «комфорта» и «упорядочения жизни как-нибудь». Есть люди, которые прикрывают свое желание «как-нибудь» «упорядочить» жизнь лозунгом культурной революции.

Все это вызывает у рабочих, социально чутких, невеселые мысли. Товарищ из Донбасса пишет мне: «Тяжело сознавать, что в среде наших молодых писателей процветает тенденция эгоистического славостяжания, грубой ревности и зависти друг к другу, склопничества».

Уралец, прочитав книги Мамина-Сибиряка, пишет: «Как хорошо писал Мамин! А наши дыпляют? Возьмешь газету, прочитаешь критику, выпишешь книжку, глядь критику-то куманек писал. Книжка — ни к чорту, скучно, понять ничего нельзя, как будто не по-русски писано. Что-то надо сделать с этим бараклом, надо что-то сказать писателям, научить их писать человечески».

Товарищ из г. Кадникова:

«Конечно, всего не перевоспитаешь за 10 лет, а все-таки новые наши силы теорию усваивают быстро, а в практике очень неопытны и в опыт жизни старых товарищей не вдумываются, плохо это, опасно. Что же будет делать наша молодежь, когда наши вожди изработаются?»

Вопрос серьезнейший, потому что возможно: часть молодежи, различные «шутники» — иначе хулиганы — будут равнодушно или даже любострастно наблюдать, как мещанин пытается изнасиловать историю. Будет наблюдать так же, как два комсомольца и «малограмотная молодежь, недавно пришедшая в город из деревни», наблюдала на дворе общежития рабочих Трехгорной мануфактуры гнусное насилие двух мерзавцев над 14-летней девочкой.

Все это сказано для того, чтоб возбудить внимание к жизни многотысячной армии начинающих писателей. Само собой разумеется, что я далек от огульных обвинений в малограмотности всей этой массы. Я хорошо знаю, что, несмотря на обилие людей малограмотных и некультурных, среди начинающих писателей есть много даровитых, искренно желающих учиться. Есть среди них и крупные таланты. Но всем им необходимо учиться технике дела, в подавляющем большинстве они технически безоружны, и это неизбежно погубит многих из них, не даст развиться их дарованиям со всею красотой и силой. Для них необходимо организовать «Курсы литературной техники». Рабселькоров тоже следует привлечь на эти курсы, что будет взаимно полезно для обеих групп. Полагаю, что нет надобности доказывать явную пользу такого соединения. На курсах должно читать лекции по русскому литературному языку в связи с так называемым «народным» языком и лекции по истории русской литературы в связи с историей литературы западной. Никаких «Теорий творчества» и прочих премудростей не нужно, а нужно дать ясное представление о работе, это всего лучше достигается не философией, а фактами.

Такие курсы несомненно привлекут лишь ту часть молодежи и рабселькоров, которая действительно и серьезно хочет учиться, а все те, кто смотрит на литературу, как на якобы легкий заработок и как на возможность «выскочить в люди», все эти «цыплята» отойдут прочь. И вот тогда Союз Советов будет иметь литераторов «поменьше», но «получше. При данном же отношении к ним — отношении беззаботном и равнодушном — мы способствуем росту очень вредного явления — фабрикации недовольных. Рабочий класс должен понять, что социальное, культурное воспитание литераторов — его дело, его кровное, очень важное дело, гораздо более важное, чем строительство дорогостоящих «Дворцов труда», «Дворцов культуры». Рабочий класс должен понять, что в жизни страны, где он — хозяин, не должно быть ничего, что создавалось бы вне внимания и без его активнейшего участия.

РАБОЧИЙ КЛАСС ДОЛЖЕН ВОСПИТАТЬ СВОИХ МАСТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

Это — наказ истории, лозунг эпохи. Для достижения этой цели советской властью открыты и открываются различные вузы и техникумы; для достижения этой цели партия вооружает рабо-

че-крестьянскую массу политической грамотностью, организует в массе сознание ее классовых интересов, внушает рабочим и крестьянам точное понимание их исторической задачи: создать свое, свободное, социалистическое государство.

В стране Советов развивается огромная и трудная работа по индустриализации, работа по коренному изменению приемов и форм сельского хозяйства. Работа эта не развивалась бы так быстро и успешно, если бы низы рабочей массы не чувствовали, что они делают свое хозяйское дело — строят свое государство, создают свою культуру. Обогащая страну индустриально, трудовые массы ставят перед собою и разрешению такие небывало сложные и трудные задачи, как «пятилетка». Простой «низовой» работник-маляр т. Слободчиков самосильно выдвигает превосходную идею «дня индустриализации» и я видел, какую восторженную встречу единодушно устроили ему 2500 рабочих Ленинграда в отличном зале «Дома культуры» за Нарвской заставой.

Все это делается в условиях непрерывной травли страны Советов, в постоянных, судорожных наскоках на нее извне со стороны европейской буржуазии, которая видит последнее прибежище и спасение свое в фашизме, хотя фашизм неизбежно и быстро уничтожает все самое лучшее и ценное, что создано буржуазией на рабском труде рабочего класса.

Передовые партийные и беспартийные силы нашей страны расходуются на строительство нового государства при наличии непрерывного и злостного, сознательного и бессознательного «вредительства» внутри страны, при наличии бюрократической канители, равной саботажу, под шумок злого и отравляющего многих шипения «механических» граждан, при наличии зоологической ненависти мещанства, временно оживленного нэпом, при колебании направо и налево в своей рабочей среде, при условии малограмотности массы и ее некультурности, которая выражается в пьянстве, прогулах, хулиганстве, в небрежной работе, плохом качестве продукции, при условии все еще недостаточно ясного, не глубоко проникшего в сознание масс того факта, что всякий труд в стране рабочих и крестьян — труд рабочих и крестьян на самих себя, и по мере того, как растет этот труд, — богатеет их государство, а не кто-либо иной.

Но при всех этих тяжелых условиях страна все-таки растет и все-таки движется вперед с быстротою, изумляющей каждого честного и не предубежденного человека.

К тому, что сказано выше, нужно прибавить следующее: наш рабочий класс принял от буржуазии технически нищенское оборудование фабрик и заводов, изработанные машины, варварские

навыки жизни, города и села, разрушенные сопротивлением командовавшего класса силе истории — воле рабочего класса, олицетворяющего эту силу. Но вот в Ленинграде я видел символическую «пристройку»; к электростанции в 20 тыс. сил пристраивается другая, в 90 тыс. Эта другая строится, конечно, по последнему слову электротехники, и рядом с этой «пристройкой», как называл ее один из строителей-рабочих, станция в 20 тыс. сил вызывает впечатление ребенка, которого ведет за собою взрослый человек. Таких «пристроек» уже немало в стране Советов, и все они убедительно говорят о великих успехах труда советской власти и рабочего класса. Рядом с этой серьезнейшей и солидной поправкой к прошлому, необходимо знать и помнить о таких новых, грандиозных и успешных затеях, каковы быстро растущая электрификация страны, Днепрострой, Волго-Дон-канал, Турксибская дорога, механизация и расширение Ленинградского порта, расширение порта в Мурманске, лесные разработки и организация лесного хозяйства в Северной краю, широкий рост сельскохозяйственных коллективов, Сельмашстрой, гигантские совхозы, «Магнитный» завод на Урале, организация судостроения, множество новых заводов и фабрик, введение в сельское хозяйство целого ряда новых культур и т. д. Всего не перечислишь, хотя и следовало бы, — мы слишком плохо и мало знаем о том, что делаем. Особенно плохо знает об этом рабочая масса, создающая из плоти своей мастеров индустриализации страны.

Еще хуже знает она, как необходимо для нее создавать мастеров культуры и как мало забот о том, чтобы эти мастера явились в срок, возможно краткий. Вооружение индустриальное требует одновременности с вооружением интеллектуальным — вооружением разума, организацией творческой, революционной воли. Культурный человек создается медленно, с великим трудом, — об этом убедительно говорит нам вся тяжелая история развития буржуазной культуры, хотя эта культура и росла на чужом труде. Но рабочий класс наш растет быстро, как это доказывают среди множества фактов особенно — два: комсомол и пионерство. Комсомол достаточно определенно заявил и заявляет о своей жизнеспособности и своем жизнотворчестве. Но я бы сказал, что пионерство, на развитие которого обращается недостаточно внимания и — на мой взгляд — затрачивается мало средств, — пионерство растет еще быстрее и обещает еще больше того, что уже дал комсомол. Не пережив тех труднейших дней и лет, которые пережиты большинством комсомольцев и, до известной степени, не могли не расшатать нервы некоторой части комсомола, — пи-

онеры обещают дать рабоче-крестьянскому государству сотни и тысячи нервно и морально здоровых, удивительно талантливых работников. Я буду говорить об этом в другом месте, а теперь вернусь к моей теме: *рабочий класс должен создать из плоти своей мастеров культуры.*

Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука. Рядом с естественными науками не менее — если не более — могучим средством воздействия на разум и волю человека служит художественная литература. Едва ли кто решится отрицать это, кроме различных изуверов и людей, которые, исповедуя, что «бытие организует сознание», как будто не видят, не верят, что сознание в свою очередь обладает силою создавать новую действительность, хотя наша пооктябрьская действительность должна бы убеждать в этом даже слепых и глухих.

У нас в области оценок воспитательного значения художественной литературы не все благополучно. Особенно заметно это в провинции. Вот пример: редактор «Советской Сибири», краевой газеты, Курс, — бывший анархист, как мне сказали, — организовал гонение на художественную литературу, и один из его сторонников, некто Панкрушин, заявил, что «художественная литература реакционна по своей природе». Это, конечно, провинциальное истолкование теории покойника Лефа. С моей точки зрения, — не цеховой, а с точки зрения человека, который лет 50 наблюдал и до сего дня наблюдает революционно-воспитательное значение литературы. — Панкрушин не только малограмотный парень, а человек, которого я считаю в праве назвать бессознательным «вредителем» в области культурной работы. Далее: при газете организована литературная страница. Но некий тов. Гиндин заявляет литкружку: «Партия и советская власть не для того дали бумагу, чтобы печатать на ней стихи и рассказы». Литературная страница ликвидируется.

Рабочий класс не может и не должен признавать таких мудрецов, весьма похожих на вредителей культурной работы, мастерами культуры. А таких «вредителей», занимающих более или менее командные должности в прессе, журналистике и т. д., у нас немало. Люди эти не знают или забыли вполне определенное отношение к художественной литературе В. И. Ленина, Маркса, Энгельса, Плеханова и многих наших большевиков, организаторов партии, ее духовных вождей. Забыли они и майскую резолюцию ЦК партии в 1925 году.

В одном из наших журналов тов. И. Ломов поместил статью: «Пятилетний план беспартийного культурничества.» Как

всегда в статьях молодых критиков, в этой статье весьма много цитат, и все они доказывают, что Госиздат, печатая классиков, делает дело вредное для рабочего класса. Кроме цитат, в статье нет ничего, что исходило бы непосредственно из опыта автора. А мне кажется, что автору следовало бы знать еще что-нибудь, кроме цитат. Например: отчеты библиотек, — в этих отчетах цифры говорят о положительном отношении рабочей массы к литературе старых писателей. Едва ли т. Ломов сумеет доказать рабочему вред для него, например, «Бориса Годунова», «Мертвых душ», «Крестьян» Бальзака, «Мужиков» Чехова, «Мещанского счастья» Помяловского, «Деревни» Бунина и еще полсотни или сотни таких же правдивых повестей о недалеком прошлом. Обилие и неосновательность слишком субъективных оценок тт. Ломовых, Панкрушинных, Гиндиных только усиливают словесный хаос, анархизируют движение по прямой и кратчайшей к определенной цели — к воспитанию из рабочей массы мастеров культуры. В мире пока еще гораздо больше оценок, чем действительных и неоспоримых ценностей, и поэтому против каждой цитаты можно выдвинуть десятка два-три цитаты, опровергающих ее.

Тов. Ломов цитирует: «Наш пролетариат достаточно крепок» и считает эти слова отражением «лживой, либеральной теоретички». Если т. Ломов — рабочий, его вывод крайне странен. Очевидно, он, Ломов, не верит, что его класс «крепок», и боится, что классики свернут голову его класса направо. Но тов. Ломов, видимо, забыл, что наш рабочий класс — хозяин в своей стране, что он строит в ней социалистическое государство, вооружает ее новейшей промышленной — и сельскохозяйственной техникой и что все это силою своей повертывает голову рабочего класса налево.

Не видит он и того, что в классиках читателя-рабочего увлекает не идеология, а — фабула, внешняя занимательность книги, обилие в ней содержания, наблюдений и знаний, ее словесное изобразительное мастерство, т. е. как раз все то, чего еще нет и пока не может быть у большинства молодых писателей, вследствие их малого знакомства с техникой литературной работы. Фадеев, Шолохов и подобные им таланты пока еще — единицы. Но, как мы видим, рабочий класс совершенно правильно оценил их достоинства художников слова.

Отрицателям художественной литературы и воспитательного значения классиков надобно понять и пора понять, что идеология буржуазных гуманистов становится для рабочего класса все более и органически непонятной и что это происходит вполне естественно. Так и должно быть, ибо новая, творимая самим рабо-

чим классом действительность всесторонне и глубоко чужда идеологии изжитого, бескровного, лишенного волевых импульсов гуманизма. И совершенно неосновательно тов. Ломов оспаривает наличие в рабочем классе «иммунитета», т. е. органической неспособности заражаться болезнями класса, ему чуждого. Что он — рабочий класс — еще болеет этими болезнями, — верно, но что он успешно излечивается от них, — еще более верно. И если б не излечивался, так не был бы там, куда уже дошел, и не сделал бы того, что уже сделал.

Вопрос об отношении к литературе классиков сводится к вопросу о мастерстве. Всякая работа требует мастера. Старинная поговорка совершенно правильно отметила, что: «Всякое дело — мастера боится, а иной мастер — дела боится.» Для того, чтобы не бояться дела, нужно хорошо изучить материал, овладеть им. Боятся дела только те, кто его не знает или плохо знает. Такие люди, будучи испуганы сложностью дела, конечно, неспособны развивать его и стараются упростить. Результат упрощения обыкновенно таков: «Сбил, сколотил, — есть колесо! Сел да поехал, — эх, хорошо! Оглянулся назад — одни спицы лежат.»

К разряду упростиелей принадлежат люди бездарные, безталанные, а также «рвачи», людишки, которые спешат занять видные места, паразиты, которых рабочий класс, к сожалению, уже развел около себя и в своих рядах.

Должны ли выдвиженцы рабочего класса, молодые литераторы, учиться делу живописи словами у старых мастеров? Совершенно ясно, что должны, потому что им необходимо усвоить и освоить приемы работы, «секреты» мастерства. Рабочие-ленинградцы приобрели образцовое оборудование американского хлебозавода, а затем, изучив технически совершенные машины, решили строить такие же своими руками. Нисколько не удивит меня, если они еще более усовершенствуют эти машины. Создавая «пристроечку» в 90 тыс. сил к станции в 20 тыс. сил, рабочие пригласили немецких мастеров ставить котлы. Немцы поставили первый котел в шесть месяцев. Второй, при помощи русских рабочих, был поставлен на месяц скорей. Третий, четвертый котлы поставлены были еще скорей, и рабочие сказали мне, что последний, шестой котел они поставят в пять недель. Вот что значит учиться мастерству и вот откуда мы должны брать аналогии и уроки, — из области творчества классового, а не из мутной, непродуманной «отсебятины», не из страха пред работой, не от мещанского анархизма!

У нас чрезвычайно много критики, которая не имеет ничего общего с самокритикой критиков, — с критикой личного, индивидуального поведения, с критикой своих мнений и сомнений. Люди, научившиеся мало-мальски грамотно писать и более или менее ловко нанизывать цитаты из чужих книг одна на другую, — эти люди уже воображают себя чем-то в роде «духовных вождей» рабочего класса. Преждевременно. И немножко не умно. Необходимо очень долго и усердно учиться для того, чтобы получить право осторожно советовать. А советуя, следует помнить, что не все знаешь и что, чем больше живешь, тем труднее знать все в наше время, когда действительность изменяется с такой бешеной скоростью.

У нас накопилось и накапливается все больше живого, практического дела. В массе его, на одном из первых мест — задача вооружения молодых начинающих писателей знанием мастерства, знанием литературной техники. Молодые писатели находятся в драматическом положении, — они хотят учиться, им необходимо знать приемы словесного творчества. Учить их — некому. Редакторы журналов возвращают им рукописи с такими отметками: «Слабо, не пойдет», «Слабовато, но есть хорошие места», «Учитесь, работайте над собой», «Не оригинально, много шаблона», «Учитесь технике».

Все эти слова ничего не говорят начинающим авторам, это не учеба, а фабрикация обиженных и недовольных. Получив из редакции две-три рукописи с такими рецензиями, автор начинает считать редактора чужим человеком и даже врагом своим. Он пишет кому-нибудь такие нелепости о редакторе:

«Сидит в мягком кресле редакции, целый день чай пьет, да с машинистками коксит, вытаращив сытые глаза, а мы для него как нищие на паперти для попа». Автору неизвестно, что перед редактором нечеловеческая задача — прочитать сотни рукописей, и что физически невозможно прочитать все их с должным вниманием. А рабочий класс все-таки обязан иметь своих мастеров слова, романистов, рассказчиков, драматургов, фельетонистов, сатириков и юмористов, работающих для эстрады, откуда необходимо поскорее вышибать старенькую, мелочную пошлость.

О ТРАТЕ ЭНЕРГИИ

Человек — славолюбив. Слава, это — уже всегда власть над себе подобными, — власть интеллектуальная или моральная. Стремление к славе воспитано и воспитывается классовым госу-

дарством, где «человек человеку — волк» и где для того, «чтобы жить, надо бить», как сказано одним из древних канонів, которые называются «пословицами».

В классовом государстве необходимо быть или холопом, подхалимом, или разбойником, владыкой. Нередки случаи, когда владыки прославляют холопов героями за то, что холопы хитрым красноречием и подлым поведением своим прославляли владык, восхищались их мудростью, оправдывали их жестокость, доказывали законность их власти. Славолюбие — болезнь древняя, ее вызывает необходимость самозащиты, она толкает человека из темноты жизни вперед и выше других на место более просторное, удобное и сытное. Надеюсь, — все это известно.

В Казани, на Устье, был грузчик, который сумел убедить свою артель, что у него пупок на два вершка выше, чем у всех других людей. Многим — и мне тоже — казалось, что пупок грузчика на том, нормальном месте, где ему надлежит быть по закону природы. Но хотя грузчик этот был из числа слабосильных в артели, она твердо верила, что среди нее есть замечательный человек, и, когда против этого верования спорили, артель сердилась и была несогласных. Ей казалось, что слава человека с пупком на два вершка выше нормального освещает всю артель особенным светом и выделяет ее из среды других артелей, как, например, Наполеон — французов, или адмирал Нельсон — англичан выделял из среды других наций.

Борис Пильняк — человек и поэтому славолюбив. Он — талантлив, это неоспоримо. Но он тоже убежден, что пупок у него на вершок выше, чем у всех иных людей, и это заставляет его слишком торопливо бежать по пути к славе. Он живет бегом. Он пишет тоже бегом, такое впечатление вызывает его растрепанный, излишне многословный, нервный и в конце-концов не очень русский язык. Ему, Пильняку, необходимо, чтобы его повести и рассказы переводились на языки всех народов мира — англичан, чувашей, китайцев, якутов. Быстрый бег по пути к славе уже несколько раз приводил к тому, что Пильняк забегал «не туда», попадал в неудобные для него положения и публично каялся в своих ошибках.

Это объясняется не только стремлением к славе, но еще и тем, что, как многие из писателей его поколения, он по разуму — социалист, а по чувству индивидуалист. Такое двоедушие вполне естественно: человек не может совершенно перевоспитать себя в течение даже таких двенадцати лет интенсивнейшего творчества во всех областях, — двенадцати лет, которые история, несомненно, назовет годами чудес. Тут бессильна даже классовая за-

кваска, как это мы видим на ряде примеров из жизни и работы писателей пролетарского происхождения. Двобудшие, к сожалению, является неизбежным в переходное время, когда люди, воспитанные отвратительным и гнусным прошлым, принуждаются историей жить и думать по новому, создавать новое. Ошибки и даже преступления, как мы видим, становятся все более частыми, по мере того, как жизнь все более уверенно, все быстрее идет по новому пути. Разум — зряч, но чувство — слепо, разум молодеет, но чувства стары. Вот в чем дело.

За свой поступок Пильняк получил слишком суровое возмездие, которое как бы уничтожает все его заслуги в области советской литературы.¹ Но речь не только о Пильняке. Я всю жизнь боролся за осторожное отношение к человеку и мне кажется, что борьба это должна быть усилена в наше время и в нашей обстановке, когда и где начинает перерабатывать действительность новый человек, выдвигенец из массы, и вместе с ним человек, который хочет идти плечо в плечо с передовым отрядом массы, с ее творческим активом.

Достаточно ли осторожно относимся мы к этим людям, достаточно ли умело ценим их работу, способности и не слишком ли сурово относимся к их ошибкам, к их проступкам? Ставить эти вопросы меня заставляет не сентиментальный гуманизм, а сознание необходимости экономить энергию человека — творца новой жизни и человека — помощника его в этом «величайшем деле века», как сказал Роллан. Умеем ли мы воспитывать помощников, вести за собою попутчиков? Мне кажется, не умеем.

Хвастливые заявления о том, что «обойдемся и без попутчиков», неубедительны. Более того: они весьма часто раздаются из среды паразитов нового хозяина страны — рабочего класса, из среды людей, которые еще не предатели, но могут предать в любой момент.

У нас образовалась дурацкая привычка втаскивать людей на колокольню славы и через некоторое время сбрасывать их оттуда в прах, в грязь. Не стану приводить примеров столь нелепого и жестокого обращения с человеком, примеры всем известны. Мне они напоминают сцены «самосуда» над воришками в 17-18 г.г., — позорнейшие драмы, авторами которых являлись обыватели. И вот эти обывательские, мещанские, волчьи травли человека весьма надоедливо вспоминаются каждый раз, когда видишь, как

охотно и сладострастно все бросаются на одного, чтобы, уничтожив оплошавшего, занять его место.

А, между тем, в наше время человек приобрел особенную ценность, как творческая единица, выполняющая историческую волю масс. Я вижу этого человека у станка и в поле, и за рабочим столом, вижу — везде. Он делает поразительно трудную работу, а действительность предъявляет к нему все более обширные и строгие требования. Обнять, охватить эту изумительно разнообразную действительность — нет сил, нет «тренировки», к тому же люди не очень богато вооружены для борьбы за развитие, за утверждение того, что есть «новый мир».

В этот новый мир активно входят дети-работники, и все, что мы делаем, делается на их глазах. Это надобно очень твердо помнить. Озлобляясь и наказывая, не следует делать это помещански, сладострастно, с болезненной страстностью, совершенно лишенной здорового чувства гнева, которым должен обладать класс, призванный историей уничтожить все наследие веков мещанской волчьей власти.

Мы живем и работаем в тесном окружении врагов внешних, живем в годы, когда в кулацкой деревне, озлобляемой ростом политического сознания бедняков, начинается Октябрь, живем, зная, что в стране нашей есть много внутренних врагов, сознательных и бессознательных «вредителей». Все это не должно пугать нас, но не следует и забывать об этом ни на одну минуту. Нужно помнить, что мы все еще не настолько богаты своими людьми, чтобы швырять ко всем чертям и отталкивать от себя людей, способных помочь нам в нашем трудном и великопном деле. И особенно необходимо заботиться о том, чтобы из детей, идущих на смену отцов, не образовалось поколение и по чувству и по разуму враждебное нам. Тем, как мы ведем себя по отношению к человеку, мы вполне способны сфабриковать врагов из своих же детей.

Конечно, найдутся люди, которые скажут, что я проповедую либерализм, «примиренчество». Это будет ложь. Та единственно подлинная справедливость, которую внедряет в жизнь рабочий класс наш, примиренчества не приемлет, и не может, не должна принимать. Я говорю о необходимости экономить трату энергии единиц и о необходимости развивать, воспитывать эту энергию в интересах рабочего класса.

¹ Речь идет о напечатании Бор. Пильняком за границей в 1929 году повести «Красное дерево», признанной советской общественностью и печатью произведением с антисоветскими тенденциями. *Ред.*

О ЛИТЕРАТУРЕ

Каковы и в чем выражаются наши достижения в области художественной литературы?

Утверждают, что крупных мастеров словесно-изобразительно-го искусства молодая наша литература не создала. Внесем поправку: не успела создать. Это — естественно. Живет она всего десяток, а в таком возрасте великаны — явление ненормальное. Согласимся с тем, что мастерство молодых писателей еще не высоко, но не станем и понижать оценку его, ибо у нас есть уже не мало литераторов очень талантливых; мы имеем право назвать их основоположниками новой советской литературы. Да и вообще, в массе, молодые писатели весьма и даже изумительно даровиты. Если б они учились так же усердно, как торопливо пишут, — их дарования развивались бы гораздо более быстро и ярко. Но при всех недостатках молодая литература наша обладает достоинством, которое очень резко и выгодно отличает ее от литературы стариков.

Вероятно историки литературы и критики обидятся на меня, но я должен сказать, что, на мой взгляд, старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области. Почти все классики и многие крупные писатели наши были уроженцами Тульской, Орловской и других, соседних с Московской, губерний. Жанр и пейзаж — быт и природа — в которых литераторы воспитывались, довольно однообразны. Решающие впечатления детства были ограничены действительностью Московской области, и эта узость поля наблюдений определенно отразилась впоследствии на творчестве классиков. Можно привести не мало доказательств ограниченного знакомства классиков с обще-русской жизнью. Они начали работать с 30—50-х годов. В эти годы на верхней и средней Волге работали большие тысячи бурлаков, из них отсеивались шайки разбойников; крепостные крестьяне бежали на юг, в Новороссию; происходили «картофельные бунты», шевелились рабочие казенных заводов; широко развивалось сектантство; крестьяне Московской области выделяли из своей среды организаторов текстильного дела и вообще промышленности. Совершалось еще многое, чего литература того времени не заметила.

«Освобождение крестьян» и разочарование их давно ожидаемой «волей» не отмечено ни одной более или менее художественно написанной книгой, также не отмечено и «хождение в народ» интеллигенции. Равнодушно прошла литература мимо картинной

действительности «народовольцев». О неудачных по форме и враждебных по тону попытках Ключникова, Всеволода Крестовского, Писемского, Лескова, Гончарова и других изобразить революционера, «нигилиста» можно не упоминать. Хорошие повести Помяловского о том, как революционер превращался в благополучного мещанина, недооценены, так же, как недооценен роман Кушневского о «о благополучном россияnine» и повесть Слепцова о «трудном времени», а эти авторы проникательно изобразили процесс превращения героя в лакея, — процесс, который и в наше буйное время «имеет место в жизни».

«Казачи» Льва Толстого — прекрасная случайность, как его «Севастопольские рассказы» и «Хаджи-Мурат». Если б Лев Николаевич знал жизнь трудового народа Поволжья, Северного края и других областей, он едва ли написал бы «Поликушку» и Платона Каратаева так, как написал, наблюдая только сотни и тысячи тульских крестьян, обработанных помещиком и церковью до полной потери самосознания. Даже знакомство с Бондаревым и Сютаяевым не поколебало крепко сложившегося представления Толстого о мужике, как человеке кротком, осужденном на муки и терпение бога ради. Не поколебал этого представления ни тульский мужик-фабрикант, ни самарский мужик-помещик, которых великий писатель наблюдал.

Гоголь изобразил группу помещиков уродов и чудаков, зная, что его друзья, помещики славянофилы, пытаются повысить сельскохозяйственную культуру, строят заводы. Эти люди не были уродами, и хотя Манилов родня им по духу, но они — не Собакевичи и Ноздревы. Киреевские, Аксаковы были людьми высокой культуры, и очень странно, что люди этого типа оказались за пределами внимания литературы. Это — одна из иллюстраций к вопросу о том, насколько объективно художественное творчество классиков.

Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы так же, как Украина, которой самодержавие затыкало рот и связывало руки, создавая этим вражду украинца к «москалю». Уже один факт этого гнета должен был возбудить внимание и взволновать гуманитарные чувства литераторов. Не взволновал. И никто из крупных литераторов не пробовал писать о жизни Украины и Белоруссии. Я не навязываю художественной литературе задач «краеведения», этнографии, но все же литература служит делу познания жизни, она история быта, настроений эпохи, и вопрос о том, насколько широко охватила она действительность свою, этот вопрос может быть поставлен. Все, сказанное выше, укладывается в простые слова: поле наблюдений

старых, великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться.

Молодая наша литература при сравнительной слабости ее изобразительных средств отличается широтой охвата действительности. Десяток лет — детское время! И все же за эти десять лет, тотчас после гражданской войны, молодежь наша дала множество книг, которые освещают жизнь даже самых темных и отдаленных от центров культуры «медвежьих углов».

Мы имеем отличные книги, мастерски рисующие жизнь и быт даже тех племен, которые жили безвестно, немо, и только что разбужены властной рукой революции от «сна веков». Укажу на романы Милия Езерского из быта самоедов, на «Полярное солнце» — прекрасную повесть Всеволода Лебедева, о жизни лопарей, на роман Пасынкова «Тайпа», мастерски изображающий жизнь одного из племен Кавказа. Можно указать и еще несколько книг такой же «высокой формы», и все они — подарок, которого нельзя было ожидать так скоро.

В книгах этого ряда, кроме их бесспорной художественной ценности, внимательный читатель удовлетворенно отметит черту, которой в старой литературе мы не найдем: она лишь очень редко, «мимоходом» и эпизодически задевала «иностранцев» и «иноверцев», она относилась к ним снисходительно, смотрела на них «сверху вниз». Не говоря о том, что татары, финские племена Поволжья, тюрко-финские прикаспийских степей и все другие люди, с которыми мы прожили века, остались совершенно вне поля зрения старой литературы, но даже к людям древней культуры — евреям, грузинам, армянам — литература в общем относилась почти так же туповато и невежественно, как литераторы Европы относились и относятся к нам, русским. Это дрянненькое и пошловатое отношение к людям «чужой крови», инсплеменным почти совершенно не встречается в книгах наших молодых писателей, а если изредка оно кое-где и заметно, так его принимаешь как «описку», как результат технической маломощности и торопливости, с которой молодежь стремится ознакомить читателей со своими «впечатлениями бытия».

«Мультанское жертвоприношение» вотяков — процесс не менее позорный, чем «дело Бейлиса», принял бы еще более мрачный характер, если б В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс и не заставил прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти. Сдача еврейских ребятишек в «кантони-

сты», в солдатские школы, тоже было жертвоприношением детей на алтарь самодержавного идиотизма, но это не возбудило протеста со стороны литературы и никак не отразилось в ней.

Старый читатель, — я с радостью отмечаю в молодых литераторах умение проникать глубоко в быт и психику тех людей, которых «государственный гений» Романовых вычеркивал из жизни. Марксистская наша молодежь действительно умеет встать рядом с узбеком и киргизом, с чеченцем и самоедом, встать с каждым, как равный с таким же равным. Это — факт, культурное значение которого нельзя преувеличить: суть факта в том, что литература объединяет все племена Союза Советов не только силой своей революционной идеологии, но и своим активным товарищеским стремлением понять человека «изнутри», изучить и осветить его древний быт, вековые навыки его. Иными словами, молодая литература наша энергично служит делу объединения всего трудового народа в единую культурно-революционную силу. Это — задача совершенно новая, важность ее не требует доказательств, и само собою разумеется, что старая литература перед собой такую задачу не ставила, не могла поставить.

Умники могут сказать, что старая литература «объединяет весь культурный мир», и сошлутся на влияние Достоевского, все более растущее в Европе. Я предпочел бы, чтоб «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоравливающий. Но не возражаю и против влияния ядовитого таланта Достоевского, будучи уверен, что он действует разрушительно на «душевное равновесие» европейского мещанина.

Указывают, что «советская литература не создала крупных произведений». Совершенно бессмысленно требовать от молодых советских писателей, чтобы они немедленно создавали монументальные произведения, равные, скажем, «Войне и миру». Но некоторые умники требуют именно таких подвигов. Иногда думается, что под этим требованием скрыто провокационное желание заставить молодежь разрабатывать темы пока еще непосильные для нее, а когда тот или иной автор изуродует, скомпрометирует сложную тему, злорадно высмеять и его и, кстати, всю советскую литературу. Надобно помнить, что о французской революции конца XVIII века начали писать в половине XIX, после того как не только погас ее огонь, но и угли покрылись холодным пеплом мешанского благополучия.

Требования «крупных» и «совершенных» произведений словесного искусства не только преждевременны, но и как будто на-

меренно эстетичны. Советская литература не может создать «Войны и мира», потому что она, вместе со всей массой творческих сил Союза Советов, живет в состоянии войны со старым миром и в напряженном строительстве мира нового. На войне эстетизм не уместен. На войне только равнодушный циник может остаться эстетом. Но мы имеем право сказать, что никогда еще и нигде литература не шла так «нога в ногу» с жизнью, как она идет в наши дни у нас. Мы можем законно похвастаться, что в целом ряде книг молодые наши писатели давно уже успели и сумели хорошо изобразить войну 1914—1918 гг. со всеми ее ужасами. Широко и многими весьма талантливо использован героический и трагический материал гражданской войны. Надолго останутся в новой истории литературы яркие работы Всеволода Иванова, Зазубрина, Фадеева, Михаила Алексева, Юрия Либединского, Шолохова и десятков других авторов, — вместе они дали широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны.

Я считаю промахом критики нашей тот факт, что она не дала должной и необходимой оценки всей массы книг, посвященных теме войны гражданской, всей работе писателей над этим материалом. Это следовало и следует сделать не только в интересах литераторов, но и читателей, которые, кстати сказать, в положительной оценке книг этого ряда опередили критику. Критика берет отдельную книгу и оперирует над нею более или менее хирургически. Но говорить о литераторе — это еще не значит говорить о литературе, и далеко не все болезни излечиваются хирургами. Отрывая, отрезая ту или иную книгу от общей массы литературы, критика индивидуализирует автора и суживает тему — общую у него со многими другими авторами. К теме гражданской войны следует подходить иначе, более исторично и шире.

Мне кажется, что было бы весьма полезно, если б критика наша давала читателю — массе — ежегодные обзоры литературы по темам, которые литература разрабатывает за год. Это очень серьезная, ответственная и необходимая обязанность критики, социально-педагогическое значение таких обзоров не требует доказательств. Обзоры эти убедили бы читателя в том, что так же, как во всех областях строительства нового мира, у нас и в области литературы тоже есть прекрасные достижения, что, как всюду, и здесь молодой хозяин страны — рабочий класс заявляет о своей талантливости, своей энергии.

Незаметно, между прочим, у нас создан подлинный и высокохудожественный исторический роман. В прошлом, в старой лите-

ратуре — слащавые, лубочные сочинения Загоскина, Масальского, Лажечникова, А. К. Толстого, Всеволода Соловьева и еще кое-что, столь же мало ценное и мало историческое. В настоящем — превосходный, точно из модели вырезанный роман А. Н. Толстого «Петр I», шелками вытканый «Разин Степан» Чапыгина, талантливая «Повесть о Болотникове» Георгия Шторма, два отличных, мастерских романа Юрия Тынянова — «Кюхля» и «Смерть Вазир Мухтара» и еще несколько весьма значительных книг из эпохи Николая I. Все это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его. Я не знаю в прошлом десятилетия, которое вызвало бы к жизни столько ценных книг. Повторяю еще раз: создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники слова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом не столь далеко, как далека эпоха Петра I, но очень похожем на нее — я говорю о вчерашнем дне. Вообще у нас в области литературы очень много нового и ценного, но не оцененного по достоинству. И, разумеется, много сора, хлама, всякой чепухи, злорадства над ошибками и противного нытья неудачников. Это вполне естественно, это — ветер революции обрывает жухлые, вялые листья с «древа жизни».

Недавно я получил письмо, оно начинается такой фразой: «Говорю очень громко вам на ухо: материал нынешнего дня при всем моем старании и прилежании не укладывается в художественные рамки». Автор этой надуманной фразы — поэт, печатается. Фраза, по моему, бездарна: зачем же говорить громко, если говоришь на ухо? Я — не глухой.

Другой нытик пишет прозу, ее тоже печатают. Этот нытик осведомляет меня о том, что «текущая действительность всегда была плохим материалом для подлинного творчества». Мало ли что «всегда» было, но — решили, что оно не должно быть.

Леонид Леонов — автор книги «Вор», построение, «архитектонику» которой со временем будут серьезно изучать — Л. Леонов написал книгу «Соть», взяв для нее материалом именно текущую действительность. И — представьте! — получилось именно «подлинное творчество», замечательная вещь, написанная вкуснейшим, крепким, ясным русским языком, именно — ясным, слова у Леонова светятся. А действительность он знает, как будто сам ее делал. Он, Леонов, очень талантлив, талантлив на всю жизнь и — для больших дел. И он хорошо понимает, что действительность надобно знать именно так, как будто сам ее делал. Для нытиков действительность — чужое и даже враждебное им дело, потому они и ноют.

Если б я писал отчет о значительных книгах, созданных «духом» революции за десятилетие — 20-й и 30-й года — мне пришлось бы растянуть эту статейку от Эривани до Архангельска, от Минска до Владивостока через Киев, Харьков, Новосибирск, заглянув и в Ташкент, и в Чебоксары и во все другие пункты, где более или менее энергично создается новая, советская литература. Пришлось бы назвать десятки книг, не прочитанных критикой или прочитанных невнимательно и торопливо, осужденных несправедливо.

Я не очень обвиняю критику в поспешности и, часто, в неосновательности суждений. Я знаю: мы крепко уверены в том, что «все можем», знаю, что нам необходимо торопиться, но все-таки мы немножко зазнаемся и, чувствуя, видя себя в силах создавать почти чудеса, требуем, чтобы чудеса были созданы сегодня же. Это — психика большевизма, она вполне оправдывается фактами творчества во всех областях работы по организации социалистического государства, грандиозными успехами науки, ростом индустрии, превращением «раба природы» — крестьянина в хозяина земли, работающего машинами, все это — так. Дальше я скажу, что, на мой взгляд, не так. Здесь же скажу два слова против возможного упрека мне в том, что я не говорю ничего о пролетарской литературе. Действительно, понятие «пролетарий» по отношению к рабоче-крестьянской массе Союза Советов выпало из моего лексикона. Это потому, что — на мой взгляд — как-то неудобно и неправильно именовать пролетариатом класс, который тратит миллиарды золота на строительство своего, рабочего государства. Ведь есть уже неоспоримое различие между пролетариатом мира и рабочим классом, полным властелином величайшей и богатейшей страны Союза Советов.

Молодая литература наша с каждым годом все более могуче и быстро расширяет поле своего зрения. Никогда еще искусство слова не служило так усердно и так успешно делу познания жизни. Это особенно хорошо видишь на «очерках».

Очерк всегда считался критиками низшей формой литературы, что вообще неверно и несправедливо. Вспомним хотя бы только двух мастеров очерка, совершенно не сродных по характеру талантов и мироощущений: Глеба Успенского и Гюи де Мопассана. Может быть, следует указать, что «Записки охотника» И. С. Тургенева по форме своей не что иное, как очерки, что этой формой не брезговали: Салтыков-Щедрин, Писемский, Лесков, Слепцов, Помяловский, Короленко и целый ряд очень крупных, весьма прославленных литераторов.

Молодая наша литература выдвинула из своей среды груп-

пу талантливых «очеркистов», и они постепенно придают очерку формы «высокого искусства». «Туркменские записки» талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и подлинное искусство изображения жизни словом. Акульшин, Стонов, Лапин, Сытин, Г. Алексеев, Павленко, Ломтагидзе, Мартынов, Овалов, Лухманов и еще десятки авторов создали и продолжают развивать своеобразную литературу, явно и законно стремясь придать ей «высокую форму». Все они, как мне кажется, очень хорошо чувствуют социально-педагогическое значение своей работы, вполне отчетливо видят ее цель. Следует похвально упомянуть Ивана Жигу, одного из убежденных пропагандистов «очеркизма».

Цель — изображение разнообразного и повсеместного процесса культурно-революционного строительства, изображение бешеной и успешной работы масс, героизма групп и единиц, работы успешной, несмотря на упорные и злейшие помехи со стороны всяческих лентяев, идиотов, шкурников и саботажников, пассивных и активных вредителей и прочих негодяев.

Поток этой работы «очеркистов» как бы смывает с кожи нашей действительности грязь и пыль прошлого, обнажая его позорнейшие уродства. Вместе с этим он, показывая, как на почве, засоренной веками невежества и глупости, отравленной пассивным отношением к жизни и зоологическим индивидуализмом мещанства, как на этой почве вырастает новый человек: коммунист, коллективист, человек, который начинает понимать, что он работает не только на себя, для государства, где он — хозяин, но и на поучение всему миру трудового народа, пролетариата.

Широкий поток очерков — явление, какого еще не было в нашей литературе. Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас. «Очеркисты» рассказывают многомиллионному читателю обо всем, что создается его энергией на всем огромном пространстве Союза Советов, на всех точках приложения творческой энергии рабочего класса. Но, как многое у нас, эта коллективная работа талантливых людей недооценивается, и ее социалистическая педагогика ускользает от внимания критики. Недооценивается эта работа материально, «очеркисты» справедливо указывают, что неряшливо состряпанная беллетристика журналов, вроде, например, «Фильки и Амельки» Шишкова, оплачивается как «высокое искусство», — оценка, которой небрежная повесть эта не заслуживает, также как и многие другие произведения именитых беллетристов. Очерк у нас — большое, важное дело. К сожалению, некоторые молодые писатели не пони-

мают этого, вероятно, потому не понимают, что наша критика не удосужилась отметить значение очерка. Вот, например, один из тех парней, который смотрит на очерк, как на низшую форму искусства, пишет мне:

«Я весь содрагаюсь от напряжения творческой силы, а вы советуете мне пробовать себя на очерке, что это — насмешка?»

Молодой человек! Вы окажете самому себе хорошую услугу, если поймете, что решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда — мастер. Из березового полена можно сделать топорище и можно художественно вырезать прекрасную фигуру человека. Но и топорище не всякий может сделать достаточно хорошо: необходимо знать качество материала. А вы не знаете даже того, что в прошлом рядовой полицейский не мог достичь степени полицмейстера и что женщин в алтаре церквей не пускали. Совершенно необходимо, чтоб «творческие силы содрогались» над изучением материала, над познанием действительности в прошлом, а того более — в настоящем.

Наша критика мало обращает внимания на очерк, да и обращает ли? Очерк и количественно и качественно занимает все более видное место в общей массе нашей литературы, но он отдан на съедение рецензентам, будущим критикам. Рецензент, — это молодой человек, который почему-то убежден, что история призвала его учить людей, таких же молодых, как сам он, но более его талантливых. Сам он, вообще, учится плохо и за своим языком не следит. Например, он пишет о небрежности языка литератора, причем оказывается, что он неспособен отличить небрежность автора от небрежности корректора, ставит знак равенства между небрежностью построения фразы и опiskой и, не зная, кто такой Брайан, герой «обезьяньего процесса», именует его Баяном. Рецензируя книгу, в которой знаменитый ученый Жюффруа Сент Иллер назван «святым Иллером», он не замечает этой анекдотической «небрежности».

Таких «анекдотов» у нас тысячи, и следовало бы сокращать их количество. Я думаю, что это — дело критики. И ее же дело — не допускать таких словесных фокусов, как например:

«По весеннему было тепло неожиданной теплотой ростепели». «Он весь заломился от предожидания растаянного мгновения жизни». «В сладостном опьянении жонглировал плавающими в глазах кругами».

Это напечатано в книге одного молодого беллетриста. Учить начинающих литераторов писать просто, ясно, грамотно — входит в число обязанностей критики, я даже думаю, что это ее

главная обязанность. Мне кажется, что в процессе роста нашей литературы критика не является «ведущей» и направляющей силой.

Критиков у нас весьма много, и количество их растет. Это — очень хорошо, если это не объясняется тяготением к легкой работе. В подавляющем большинстве критики — марксисты, это тоже хорошо, ибо значит, что основная линия у них должна быть единой.

Однако у меня получается впечатление, что критики заняты не столько литературой, как взаимным воспитанием друг друга. Все они «выпрямляют линию», и в результате их усилий линия так капризно изогнута, запутана, что трудно понять, где же прямая и единая?

Критики разбились на мелкие группы и неистово спорят, порицают друг друга, внося в это — едва ли плодотворное — дело много явного лицепрития, самолюбия, личных симпатий, антипатий и в конце концов — индивидуализма.

Крайне странно и очень печально видеть, что споры людей, единомыслящих в главном, ведутся тоном враждебным, перенасыщены грубейшими личными выпадами и что в спорах этих отсутствует чувство товарищества, сознание единства главной линии. Взаимные упреки в передержках, в нечестном отношении к мысли и слову, стремление уязвить совопросника и в нос и в пуп, откровенные намеки на его недомыслие и прочие сокрушительные приемы словесного боя едва ли похвальны и необходимы для людей, которые избрали себе профессию «учителей жизни» в стране, где строится социалистическая культура. Эти приемчики взаимного унижения и заушения критиков «именитых» воспитывают в начинающих критиках — пока еще рецензентах — такие же грубые и вредные нравы.

Литература, как работа коллектива, цеха, не освещается критикой; при наличии быстрого и разнообразного роста литературы у нас нет годовых обзоров ее достижений. Литератор, как мастер, мало интересуется критику; кажется, что она ищет прежде всего в нем сторонника той или иной группы и воспитывает, как солдата своего взвода, а не как бойца единой огромной армии. Такое отношение — толчок в сторону индивидуализма.

Читают критики торопливо и невнимательно. Частенько бывает так, что техническая малопомощность автора рассматривается, как его идеологическая невыдержанность. Молодого человека, который еще не умеет одеть свою мысль, свой образ, характер, пейзаж достаточно ясными словами, еще нельзя признать «реставратором старины». Его следует учить технике де-

ла, а вырезать ему язык или отсекал руку не следует. Вообще хирургия не может служить методом воспитания. Попытки хирургического лечения горбатов подтвердили истину старинной пословицы: «Горбатого — одна могила исправит», но в смысле идеологическом и горбатого можно выпрямить, это дело воспитания.

Но если молодому писателю каждый из критиков будет кричать, что только он один из двенадцати учит истине, а остальные одиннадцать еретики, это нельзя назвать воспитанием и это вызывает у молодого человека горестный вопль:

— Я прочитал пять книжек, — названо пять авторов, — но я не могу понять, кто прав. И кто такая Галатея?

Вот, например, Галатея, — к чему она? Что может сказать эта нимфа человеку, который живет на берегу реки Которосли, в которой замечательно крупные окуни, а нимфы не водятся? Разумеется, для критика весьма похвально быть грамотным, но нужно ли смущать знанием древних мифов молодого человека, в то время, когда человек этот хочет научиться политграмотно и образно писать о комедиях и драмах действительности текущей? Было бы, пожалуй, гораздо полезней, если б все мы писали проще, экономнее, так, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно», а не так, например:

«... мы должны отвергнуть тенденцию к аполитации дискуссии».

Ведь можно сказать менее премудро: мы отвергаем намерение устранять политику из наших споров. Нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые ясные слова. В. И. Ленин неопровержимо доказывал это. Но наши критики мало заботятся о простоте и ясности, необходимых в педагогике.

Известно, что «нет дыма без огня», но у нас огонь политики дает слишком много словесного дыма. У каждой группы критиков есть своя возлюбленная Галатея, каждая из нимф пышно одета в слова устрашающе-мудрые, и это ведет к тому, что молодой литератор жалуется: «термины затемняют существо вопросов, да еще пишут у нас длиннейшими периодами с вводными предложениями почти в каждом. Читать до того трудно, что двое из нашего кружка отказались от совместной проработки...»

Лично я думаю, что эти жалобы справедливы, ибо не кажется мне, что критика наша за десять лет ушла по прямой линии дальше Плеханова и Ленина. И уже есть не мало случаев, когда она уходила далеко в чужую сторону.

Многословно и давно уже спорят о том, надо ли учиться у классиков?

Мое мнение: учиться надобно не только у классиков, но даже у врага, если он умный. Учиться не значит подражать в чем-то, а значит осваивать приемы мастерства. Овладеть приемами работы вовсе не значит укрепить его за собою на всю жизнь: только начини работать — и работа сама станет учить тебя, это знает каждый рабочий. Если б ученые сводилось только к подражанию, у нас не было бы ни науки, ни техники, да и литература не достигла бы того совершенства, которое обязательно для молодых писателей. Есть что-то комическое в боязни учебы у классиков, как будто опасаются, что классик схватит ученика за ногу и утащит его в могилу к себе.

Я бы дружески посоветовал гг. критикам обращать больше внимания на литературу в целом, а не на единичные явления ее. Само собою разумеется, что я не исключаю необходимости говорить об отдельных произведениях. Но «Рождение героя» Ю. Либединского по теме своей — не единичная вещь, на эту тему у нас написан не один десяток книг, и очень полезно выяснить, как изменяется тема из года в год? Рассматривая работу литературы так, можно прийти к выводам весьма поучительным. Значит: следовало бы давать ежегодные обзоры развития литературы по темам.

Совершенно необходимо отнестись серьезно к работе «очеркистов» и, перестав считать очерк «низшей формой искусства», всемерно помочь ему расти и развиваться до пределов возможного совершенства. Не игнорировать областной литературы и прессы, например журнал «Сибирские огни» вполне заслуживает серьезного внимания критики, отличный журнал.

Давать обзоры наименьшинских литератур, не говоря о необходимости обзоров роста литературы украинской, белорусской.

А разноречия между критиками выяснились бы гораздо быстрее и успешнее не на бумаге, а путем личного и непосредственного общения враждующих групп на конференциях, совещаниях, съездах. Споры на далеком расстоянии друг от друга принимают характер слишком отвлеченный и мелочный. При условии же непосредственного общения товарищей полемика более точно совпадала бы с понятием «деяние».

О „МАЛЕНЬКИХ“ ЛЮДЯХ И О ВЕЛИКОЙ ИХ РАБОТЕ

В теплых водах Индийского и Тихого океанов есть острова, созданные работой ничтожно мелких животных — коралловых полипов. Эти животные начинают свою деятельность иногда с

большой глубины, работают десятки тысяч лет, погибают миллиардами единиц, а масса их, продолжая начатое дело, выводит работу свою на поверхность океана, и мощные волны его не могут размыть, разрушить труд ничтожно маленьких существ, безруких, безглазых, но, может быть, как-то по своему — разумных. О крепость скал, слепленных работой этих существ из плоти своей, разбиваются железные корабли.

Культурную жизнь на земле начали строить маленькие люди тогда, когда они были, наверное, немногим умнее коралловых полипов.

Кроме жизни, которой природа наградила нас вместе со зверями, птицами, рыбами, насекомыми, — вместе с волками и крысами, соловьями и лягушками, ершами и змеями, пчелами и вшами, — кроме жизни — природа ничего не дала нам, — мы сами взяли и берем у нее все, что нам необходимо.

Маленькие люди, мы в древности питались корнями растений, древесной корой, червяками. Хлеб, сахар и все, чем питаемся мы теперь, найдено, отнято и обработано нами без помощи природы, силой нашего разума.

«Великие» люди родились не в одно время с «маленькими», — они выросли после, на труде маленьких. Великие люди — это те, у которых лучше, глубже, острее развиты способности наблюдения, сравнения и домысла — догадки, «сметки». Это люди, которые умеют воплощать свои наблюдения над явлениями природы и социальной жизни «маленьких» — в руководящие идеи, в формы научных теорий, законов науки и произведений искусства.

Почему люди, имеющие одну и ту же природу, непрерывно враждуют между собой, — спрашивал более чем 2000 лет до наших дней «мудрец» древнего Рима Цицерон. Как случилось, что масса «маленьких» людей раскололась на рабов и господ, на хозяев и рабочих — на два класса, интересы которых совершенно непримиримы?

О том, как это случилось, рассказали рабочим всего мира двое поистине великих людей, которые прекрасно изучили трудную жизнь «маленьких», — это Карл Маркс и Владимир Ленин.

До них на протяжении двух тысяч лет сотни церковных писателей и моралистов, наблюдая ужасы жизни трудового народа, проповедывали и все еще проповедуют богатым — необходимость милосердия, бедным — необходимость кротости и терпения, обличали и все еще обличают пороки тех и других.

Но, как мы знаем, проповеди милосердия, кротости, терпения не сделали и не делают жизнь рабочих людей легче и не уменьшают пороков, не увеличивают «добродетели».

Маркс был тот первый и настоящий великий человек, который научно и неопровержимо установил, что причина всех несчастий рабочего класса и всего зла жизни — классовое общество, экономическое неравенство, частная собственность, и что для рабочего класса выход к свободе только один — уничтожение классового строя, частной собственности и установка жизни на началах коммунизма.

Ленин — величайший вождь, который решительно встал во главе «маленьких» рабочих людей всего мира, решительно позвал их на борьбу за свободу. Следуя его призыву, рабочие России взяли в свои руки, в свою волю власть над своей страной. Этот первый опыт строения рабочими и крестьянами государства для себя имеет мировое воспитательное значение для трудящихся всей земли.

Вероятно многие из рабочих скажут:

— Все это мы слышали тысячу раз.

От повторений правда не портится. Одно дело — выслушать, другое — понять и почувствовать. Людей, которым знакомо все то, что здесь говорится, не так много для страны с населением в 150 миллионов. Таких товарищей, которые, не щадя себя, героически делают великое дело строения социалистического государства — еще меньше.

Капиталистический строй преступен тем, что, безжалостно растрачивая рабочую силу на защиту своей власти, заставляя рабочих производить пушки и ружья, из которых собственники в любой момент могут уничтожить тысячи и тысячи тех же рабочих, миллионеры, миллиардеры и прочие «великие» грабители мира сделали труд подневольным, рабским, заразили «маленьких» людей равнодушием к труду, лишили труд радости, убили в нем личное творческое начало.

История культуры рассказывает нам, что в средние века ремесленные коллективы каменщиков, плотников, резчиков по дереву, гончаров умели строить здания и делать вещи изумительной красоты, еще непревзойденной художниками одиночками. Таковы средневековые соборы Европы, таковы вещи, наполняющие музеи Запада и Союза Советов. Рассматривая эти вещи, чувствуешь, что они были сделаны с величайшей любовью к труду. «Маленькие» люди были великими мастерами, — вот что говорят нам остатки старины в музеях и величественные храмы в старинных городах Европы.

Человек по натуре своей — художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту. Он хочет перестать быть животным, которое только ест, пьет и довольно бессмы-

сленно, полумеханически, производит детей. Он уже создал вокруг себя вторую природу, ту, которая зовется культурой. Человек — художник, в этом убеждает нас созданное «маленькими» людьми словесное и народное творчество: мифы, сказки, легенды, суеверия, песни, пословицы и т. д. Все это — творчество «маленьких» людей и во всем этом заложено неисчерпаемо много прекрасной, хотя в большинстве уже устаревшей мудрости, в этом сжат трудовой опыт бесчисленных поколений. Капиталистический строй убил в «маленьких» людях способности художников и творцов, этот строй не давал талантам ни места, ни возможности развернуться, расцвести.

Но вот, как только рабочие и крестьяне сбросили с хребтов своих гнет собственников, — тотчас оказалось, что «маленькие» люди, люди будничного, «мелкого» труда могут быть вождями армий, организаторами героических отрядов партизан, талантливыми администраторами, директорами фабрик, изобретателями, поэтами, литераторами. Усвоенная нами от буржуазии проклятая привычка искать в человеке прежде всего отрицательных качеств не позволяет нам правильно оценить этот взрыв творческих сил в Союзе Советов. Мы забываем, что живем только одиннадцать лет, и не знаем, как чудовищно много сделано нами за эти годы. Наше невежество, наша социальная малограмотность ослепляет нас, и мы слишком плохо умеем наблюдать и сравнивать. Наше мышление отравлено злыми предрассудками мещанства — предрассудками, которые для мещанина очень выгодны. Мещане всегда играли и теперь играют на понижении действительной цены рабочего человека. Мещанин ищет в человеке прежде всего дурных сторон, — они полезны мещанству, — оно «морально» оправдывает ими свою власть над людьми труда. Трудовой народ для буржуазии — стадо идиотов, негодяев.

Убивая в «маленьких» людях любовь к труду, «великие» мещане убивали в них и сознание человеческого достоинства, сознание значительности «маленьких» в мире. На протяжении тысяч лет «великие» моралисты-пророки, «отцы церкви», писатели усердно занимались тем, что обличали порочность рабочей массы, недостатки людей, умалчивали о главной причине пороков и о достоинствах трудового народа, о значении его честного великого труда. Нас моралисты убеждают только в том, что если человеку изо дня в день твердить, что он плох, — это не делает его лучше, чем он есть.

Людей учили: вы негодяи, вы дрянь; старайтесь быть лучше. Но им не давали права изменять действительность к лучшему. Было практически выгодно внушать людям, что они — негодяи.

Ведь если это так, значит, они сами и виноваты в том, что их жизнь так тяжела, так отвратительна. «Маленьких» людей пытались убедить, что они ничтожны, бездарны, глупы и что все «хорошее», созданное на земле, создается не ими, а силой «великих».

Впервые за всю историю человечества рабочие и крестьяне России, завоевав власть над своей страной, завоевали себе право изменять действительность сообразно своим интересам, право строить государство на основе экономического равенства, — государство, в котором не должно быть бездельников, лентяев, паразитов, хищников и проповедников морали, угнетающей человека.

Власть, установленная трудовым народом Союза Советов — есть подлинная власть рабочих и крестьян; у этой власти нет личных интересов, она — действительно орган воли трудового народа и воплощение его разума.

Если она иногда ошибается, это нельзя ставить ей в вину, потому что она делает дело, какого никто и никогда не делал. Ей нигде и не на чем учиться тому, как практически преодолеть воспитанный веками пагубный инстинкт собственности в десятках миллионах людей; как поставить на ноги эту массу неграмотных и полуграмотных, зараженных анархическим недоверием ко всякой власти и, в то же время, издавна привыкших, чтоб вопросы жизни ее решала власть.

Но несмотря на все это, Союз Советов экономически крепнет и развивается как государство социалистическое.

Пред рабоче-крестьянской властью стоит огромная задача, которую никто до нее не решался поставить — это задача воодушевить, зажечь всю массу рабочего народа сознанием, что только единодушный, честный, упорный, героический труд откроет рабочим и крестьянам широкий путь к справедливости, равенству, свободе, счастью. В коротких словах это значит: перевоспитать полтора миллиона людей, воспитанных в подневольном труде и еще не понимающих иного счастья, кроме счастья мелкого собственника. Это задача необыкновенной трудности, а разрешают ее люди — в большинстве — от станка и от сохи.

Прибавьте сюда ненависть капиталистов всего мира против Союза Советов, ненависть, которая не брезгует никакими мерзостями, для того, чтобы помешать делу создания социалистического государства, — делу, которое не может не вызвать подражания у рабочих и крестьян всей земли.

Не словом, — а делом, деянием создано на земле все то, чем люди имеют право гордиться, все то, что привело нас на высоту.

которую мы заняли и где нас видит весь мир трудящихся. В мире еще не было того уважения к труду, той высокой оценки его, которую он заслуживает. Хищники и паразиты прекрасно понимают значение труда, их «кормильца и поильца», хотя восхваляют его только в легком деле накопления денег.

На почве высокой оценки труда и уважения к трудящимся нам дана возможность создать свою, новую мораль. Труд и наука — выше этих двух сил нет ничего на земле. Друг и соратник Маркса — Энгельс прекрасно и верно сказал: «Чем беспощаднее и свободнее становится наука, тем больше приходит она в согласие с интересами и стремлениями рабочих».

Окончательная победа рабочего класса — в теснейшем соединении его великого труда с трудом, направленным к той же цели, работников науки, — единственных людей, которые вместе с «маленькими» героями честной, героической, бескорыстной трудовой жизни, имеют право на титул великих людей нашего мира.

В нашей огромной стране с каждым годом развивается небывалая работа разума и воли. Трудовой народ взялся за дело, какое до него никто не начинал, — он учится управлять своей страной сам, без «хозяев», он строит в своей стране новое государство, — государство для себя.

Рабочие и крестьяне должны точно знать, как идет эта работа, какие результаты дает она в деревнях и на фабриках, в каждом районе и округе, в каждой области и республике Союза Советов.

Знать это — не легко, работы — много, она становится все более разнообразной, а интерес к жизни и поле зрения у большинства рабочих и крестьян уродливо ограничены, уши и глаза у них искусственно замазаны различным лживым стареньким дрянцом, поэтому все новое, непривычно люди плохо слышат, плохо видят, плохо понимают.

Есть много «маленьких» людей, которые все еще думают, что упорный, великий их труд поглощается, исчезает так же, как исчезал, поглощался до Октябрьской революции при старом порядке, когда крестьяне и рабочие обогащали помещиков и фабрикантов, расширяя их «собственность» до чудовищных размеров, а сами, несмотря на каторжный свой труд, оставались в нищете, жили бесправными рабами, как пленники в чужой стране.

Многие из «маленьких» людей все еще не уверены, что они живут у себя дома, работают только на себя, что, кроме рабочих да крестьян, других хозяев в Союзе Советов — нет и что какую бы мелкую работу ни делал человек, он делает ее для себя.

Но «маленьким» людям пора уже знать, что всякий их труд возвращается им же и только им в форме тех достижений, о ко-

торых рассказывает этот журнал устами рабселькоров, агрономов, техников и работников науки.

Эти достижения обогащают не кого-либо иного, а именно трудовой народ нашей страны и только его. Именно на труде рабочих и крестьян в стране Советов создаются научные учреждения, задача которых сделать землю более урожайной, найти и разработать для этого достаточное количество различных удобрений, улучшить породы скота, развить для деревни более выгодные культуры, уничтожить вредителей хлеба, облегчить работу крестьянина введением в его хозяйство наибольшего количества машин, научить его работать коллективно, дать деревне все, от чего труд крестьянства становится мощнее, выгодней.

Также и работа на заводах, фабриках, в шахтах и всюду становится легче, продуктивней, для детей трудового народа создаются школы, университеты, рабфаки, — делается все, чтоб добиться одного: чтоб рабоче-крестьянская масса поняла: власть над страной должна принадлежать только ей, ей она и принадлежит.

Власть эту рабочие и крестьяне могут навсегда закрепить за собою только «орудием всех орудий» — трудовой рукою своей и только разумом, освобожденным от всего, что внушено ему «хозяевами», — разумом, единственным творцом всех чудес на земле.

Оттого, что большинство рабочих и крестьян все еще не достаточно ясно понимает разрешающую всю подлую и скверную путаницу старины силу труда своего, не видит, как и во что преобразует рабоче-крестьянская власть его «мелкий», будничный труд, — от этого у многих «маленьких» людей воскресает вредное тяготение к старинке и, между прочим, к богу, якобы единственному подлинному «хозяину» земли и даже будто бы «создателю» ее.

Крестьяне, обученные земными хозяевами «на обухе рожь молотить» и вообще не плохие хозяйственники, не могут все еще понять, что владыко небесный — хозяин «из рук вон» плохой.

Сотни лет церковь усердно вбивала в головы рабочего народа, что бог — всемогущ, что в нем «воплощен» высший разум и что все создано именно этим премудрым разумом. Но ведь и для малого ребенка ясно, что это сказка.

Не будем говорить о том, что бог, создавший людей будто бы «по образу и подобию своему», создал их разноцветными: белых европейцев, черных негров, желтых китайцев, красных индейцев Америки, что все люди говорят на разных языках, не понимают друг друга, да и самого бога понимают различно, а это различие понимания возбуждает среди людей взаимную вражду, кровопро-

литие, погромы и грабежи. Все это, как будто, не очень мудро и совсем не «хозяйственно».

Но еще более ясно будет нам, что бог — плохой творец и «хозяин», если мы поставим пред собой несколько простых и вполне законных вопросов, например:

Почему бог создал землю не из одного чернозема, а из мало плодородных супесей, суглинков, зачем созданы болота, солончаки и бесплодные песчаные пустыни? Почему нужно, чтобы в одной стране вырастал только мох, а в другой круглый год земля родит крестьянину хлеб, овощи, плоды? Зачем созданы комары, вши, клопы, мухи, овода, мыши, суслики и всякие другие вредители, пожирающие десятки тысяч тонн зерна? Зачем создано такое обилие сорных, вредных трав, которые зря истощают соки земли? Зачем каменный уголь спрятан глубоко в землю? И вообще зачем жизнь и труд существ, созданных будто бы «по образу и подобию» разумнейшего, многомилостивого и доброго существа, — зачем их труд так отягчен, а сами они так неразумны, завистливы, жадны, жестоки?

Таких простых и совершенно законных вопросов можно поставить не одну сотню. И на все эти вопросы есть только один ответ: не в божьем разуме, а в человеке. Бог выдуман — и плохо выдуман! — для того, чтоб укрепить власть человека над людьми, и нужен он только человеку-хозяину, а рабочему народу он — явный враг.

Все истинно мудрое — просто и понятно.

Владимир Ленин, человек простых и потому великих мыслей, сказал:

«Религия — дурман для народа».

Вот это — простая, ясная мысль, правду ее утверждает вся жизнь трудового народа, вся история постепенного порабощения хозяевами его воли и разума. Эта мысль должна освободить разум крестьян и рабочих от вредного влияния учения церкви, должна внушить рабочему народу сознание его внутренней свободы, его права быть единственным владыкой и устройтезем земли, полным хозяином всех продуктов своего труда.

«Рабочий народ должен овладеть наукой» — многократно повторял Ленин, зная, что наука — высшая, наиболее продуктивная форма труда, и что трудовой народ, вооруженный знанием, быстро достигнет своей цели создать государство равных, без «хозяев», без хищников и паразитов; это государство свободных, здоровых людей уже строится.

Ленин — первый человек, который почувствовал и понял, что слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — это командный

крик всей истории трудового народа, понял, что если рабочие и крестьяне всей земли не хотят выродиться и погибнуть под гнетом непосильного труда, нищеты, болезней, бесправия — они должны взять власть над землею и всеми богатствами ее в свои крепкие, умные руки.

Вот что следовало бы написать на всех монументах Ленина.

Трудно знать все, что сделано, что делается и как делается в нашей огромной, богатейшей стране. Но необходимо, чтоб это знали все грамотные крестьяне и рабочие, чтоб это знал каждый из них и чтоб этим сознанием своего творчества они делились с неграмотными.

Знание достижений в деле строительства рабоче-крестьянского государства особенно важно и поучительно, потому что оно покажет рабочим и крестьянам рост их силы, размах работы.

Это будет самопознанием трудового народа, так же необходимым, как самокритика, направленная к познанию его ошибок и пороков. Это самопознание должно убедить «маленьких» мастеров великого и нового дела в том, что они вполне способны делать его и что их труд — не пропадает зря, не идет на откармливание паразитов, а, все возрастая, обогащает страну, и близко время, когда результаты этого труда облегчат жизнь рабоче-крестьянской массы.

Рабочие и крестьяне должны знать и верить, что «наука и труд — все перетрут», все цепи прошлого, все, чем «хозяева» тысячи лет огулашали и ослепляли рабочий народ.

УДАРНИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Так же, как партия рабочих большевиков-ленинцев служит главной силой, которая социалистически организует разум и волю всей массы рабочих и крестьян, ударники, вырабатывая на практике, на живом опыте приемы трудовой дисциплины и экономии рабочей энергии, являются ведущей силой в области строительства социалистической промышленности и сельского хозяйства.

Именно поэтому вполне естественно, что беспартийные ударники так хорошо понимают смысл и значение генеральной линии партии и так охотно вступают в число ее членов, увеличивая ее, т. е. свою творческую силу.

Рабоче-крестьянская масса Союза Советов, выделяя из среды своей ударников в партию, становится все более творчески могучей и всевластной силой. Рост партии — это рост мозга рабочих и крестьян, рост их разума и рост влияния на пролетариат всего

мира. Чем сильнее будет развиваться это влияние, тем все менее возможным станет разбойничье вооруженное нападение капиталистов на Союз Советов. Чем быстрее будет разрастаться количество сознательных и честных партийцев, тем легче будет борьба с паразитами, с разнообразными «вредителями» внутри Союза Советов.

Примеру ударников на фабриках и заводах несомненно последуют крестьяне колхозов, а увеличение партийцев в их среде поможет им успешнее бороться с кулачеством, быстрее победить его.

Кроме вредителей и кулаков, у рабочих, у крестьян есть еще один сильный враг, враг этот — пережитки старины, привычки и навыки, различные суеверия и неверие в силу разума, внушенное людям веками рабской подневольной жизни, внушенное церковью, попами и всей вековой пылью, грязь бессовестной, мещанской, собственнической жизни.

Борьба против этой звериной жизни, построенной на жадности и зависти, на принципе «каждый за себя, а бог за всех», — борьба против старины пойдет решительнее, успешней, если крестьянство и рабочие в массе своей поймут, что основная сила жизни — разум, и что только свободный от старинных внушений разум способен работать на всех и для всех.

Путь в партию — путь к свободе разума. Рост партии — рост силы рабочих и крестьян. Цель революции — освобождение людей из плена прошлого, из-под гнета старого мещанского мира. Есть люди, которым кажется, что партия и советская власть затрудняют, стесняют развитие личности, развитие отдельного человека.

Это кажется потому, что людям трудно расстаться с тем, к чему они веками приучены, потому что им больно, когда сила разума вскрывает старые гнойники под их кожей. Жалуются на бурный рост нового отношения к жизни закоренелые мещане, люди, которые не могут жить иначе, как живут пауки: каждый — в своем углу, в своей паутине.

Свобода духовного развития личности наступит тогда, когда люди решительно откажутся от предрассудков, религии, своей нации, когда все, весь трудовой народ почувствует и осознает свое единство.

Ждать этого не так долго, как это кажется. Приблизить срок освобождения людей от пережитков прошлого — в нашей воле, это — дело и цель нашей энергии. Вот почему необходимо все более сжимать, концентрировать ее. Партия и есть тот пункт, та фабрика, где рассеянная энергия рабочих и крестьян концентри-

руется и откуда, исходя в действительность, она создаст почти чудеса...

Можно ли на основании нескольких, не очень «литературно» написанных ударниками очерков, можно ли, опираясь на такой небольшой материал, восходить на высоту таких мыслей, каковы написанные выше?

Можно. Иголки, булавки и всякая металлическая мелочь вырабатывается из огромных кусков металла, который, в свою очередь, добыт из бесформенных с виду кусков руды, а руда эта состоит из частиц, невидимых глазом, а из этих частиц создаются разумом человека разумные, мощные машины, которые делают металлическую мелочь, тянут вольфрамовую нить для электроламп и создают сложнейшие аппараты, как, например, микроскоп, химические весы и прочее.

Очерков, написанных ударниками, — не мало. Всесоюзный центральный совет профсоюзов издает их десятками, издал уже не менее сотни. Эти очерки — сырье, руда, но — в ней содержится не мало признаков высокой ценности, из этой руды можно извлечь кое-что драгоценное и глубоко поучительное. Сами ударники, в большинстве, очевидно, не считают себя литераторами, хотя наличие способностей к этой работе у некоторых заметно.

Основная героическая деятельность их у станков, в цехах, вероятно, не дает им возможности работать еще в одной области — в литературе. Но из того, что они уже дали, наша критика могла бы извлечь кое-какие весьма интересные выводы по вопросу о взаимоотношении литературы и жизни, — вопросу, невероятно засоренному плохо переваренными мыслями профессиональных книгоедов и всячески словесным мусором.

Молодым литераторам, особенно тем из них, которые, более или менее прилично написав два-три рассказа, задирают вверх нос и хвост, считая себя уже литературных дел мастерами, и совершенно перестают учиться, — таким литераторам тоже не мешало бы почитать книжки ударников и подумать над ними. Не так давно посоветовав это одному из них, я получил от него задорный ответ: дескать, его «творчество не нуждается в понукании» и что он-де «уже достаточно грамотен для того, чтобы учиться у малограмотных». Такой недоросль из пролетариата заслуживает, чтобы ему было сказано несколько надгробных слов, ибо он явно неграмотоспособен, а значит — нежизнеспособен. Люди его типа и класса должны знать и помнить, что ударник — это не только человек, который научился хорошо, быстро, дисципли-

илинированно работать, а еще человек, который пытается и умеет рассказать о своем опыте рабочему миру.

Вот, подумайте-ка о значении той силы, которая позволяет человеку оформлять материю, не имеющую формы, и одновременно оформлять словами процесс преодоления сопротивления материи. Тут есть над чем подумать и есть что изобразить, потому что ведь речь идет о борьбе социалистически организованной воли не только против упрямства железа, стали, но главным образом о сопротивлении живой материи, не всегда удачно организованной в форму человека.

В очерках ударников можно прочитатъ о том, как молодежь омолаживает стариков, о том, как лентяй, охраняя свою лень, обжигает руку товарища, можно узнать, почему иногда старик моложе юноши и вообще узнать о «творимой» действительности весьма много полезного.

У нас все кричат: ближе к действительности, ближе! Но на съезде комсомола было трое литераторов, все — комсомольцы; на процессах вредителей литераторы замечались единицами, на Съезде Советов они, кажется, совсем не замечались. А ведь Съезд Советов — это есть одно из очень ярких отражений новой действительности, комсомол же — действительность и очень хорошая! Вредительство — тоже действительность, чрезвычайно поучительная ее гнусностью. — Товарищи! Держи ухо остро! Глади в оба! — учит она.

И надобно знать, что настоящее имя нашей действительности — революция, и что она, все быстрее развиваясь, легко обгоняет задумчивых людей, оставляет их позади себя.

II

О том, как я учился писать

Товарищи!

Во всех городах, где удалось мне побеседовать с вами, многие из вас спрашивали устно и записками: как я научился писать? Спрашивали меня письмами со всех концов СССР рабселькоры, военкоры и вообще начинающая литературную работу молодежь. Многие предлагали мне «написать книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы», «выработать теорию литературы», «издать учебник литературы». Такой учебник я не могу, не сумею сделать, да к тому же такие учебники, — хотя и не очень хорошие, но все-таки полезные, — уже есть.

Необходимо для начинающих писать знание истории литературы, для этого полезна книга В. Келтуяла «История литературы», изданная Госиздатом; в ней хорошо изображен процесс развития устного — «народного» — творчества и письменного — «литературного». В каждом деле нужно знать историю его развития. Если бы рабочие каждой отрасли производства, а еще лучше — каждой фабрики, знали, как она возникла, как постепенно развивалась, совершенствовалась производство, — рабочие работали бы лучше, чем они работают, с более глубоким пониманием культурно-исторического значения их труда, с большим увлечением.

Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в существе своем, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной, внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги «Мертвые души», а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги «Сентиментальное путешествие»; не важно и тематическое единство «Мертвых душ» с «Записками Пиквикского клуба» Диккенса, — важно убедиться

в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетется сеть «для уловления человеческой души», что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений. Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках и везде, всегда были и есть мятежники, которые стремились, стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что, в конце концов, мятежники, указывая людям путь вперед, толкая их на этот путь, все-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности, созданной классовым государством, буржуазным обществом, которое заразило и заражает трудовой народ подлейшими пороками жадности, зависти, лени, отвращения к труду.

История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории человека, — человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века. Сказочные успехи науки, быстрота ее роста, объясняются именно тем, что ученый знает историю развития своей специальности. Между наукой и художественной литературой есть много общего: и там, и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение; художнику также как ученому необходимо обладать воображением и догадкой — «интуицией». Воображение, догадка дополняют недостающие, еще ненайденные звенья в цепи фактов, позволяя ученому создавать «гипотезы» и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая «вторая природа».

Это всего лучше подтверждается двумя фактами: знаменитый химик Дмитрий Менделеев создал на основании изучения всем известных элементов — железа, свинца, серы, ртути и т. д. — «Периодическую систему элементов», которая утверждала, что в природе должно существовать множество других элементов, никем еще не найденных, не открытых; он указал и признаки — удельный вес — каждого из этих элементов, никому неизвестных. Ныне все они открыты, а кроме их, методом Менделеева, найдены и еще некоторые, существования которых и он не предполагал.

Другой факт: Гонорий Бальзак, один из величайших художников, француз, романист, наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека на верное действуют какие-то мощные, неизвестные науке соки, которыми и объясняются различные психофизические свойства организма.

Прошло несколько десятков лет, наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки — «гормоны» — и создала глубоко важное учение о «внутренней секреции». Таких совпадений между творческой работой ученых и крупных литераторов — не мало. Ломоносов, Гете были одновременно поэтами и учеными, также как романист Стриндберг, — он первый в своем романе «Капитан Коль» заговорил о возможности добывать азот из воздуха.

Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и «типов», требует воображения, догадки, «выдумки». Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография, лишенная социально-воспитательного значения, и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни.

Но если писатель сумеет отвлечь от каждого из 20—50, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д., — отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приемом писатель создаст «тип», — это будет искусство. Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружает художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм. Бальзак субъективно был приверженцем буржуазного строя, но в своих романах он изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью. Есть много примеров, когда художник является объективным историком своего класса, своей эпохи. В этих случаях значение работы художника равноценно с работой ученого естествознателя, который исследует условия существования и питания животных, причины размножения и вымирания, изображает картины их ожесточенной борьбы за жизнь.

В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Познание, — это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание — есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения.

Мы читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит луна», «река нашептывала старые былины», «лес нахмурился», «волна хотела сдвинуть камень, он морщился под ее уда-

рами, но не уступал ей», «стул крикнул, точно селезень», «сапог не хотёл влезть на ногу», «стекла запотели», — хотя у стекол нет потовых желез.

Все это делает явления природы как бы более понятными для нас и называется «антропоморфизмом», от греческих слов — антропос — человек и морфе — форма, образ. Тут мы замечаем, что человек придает всему, что видит — свои человеческие качества, — воображает, вносит их всюду — во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм не уместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: «мороз щипал уши», «солнце улыбалось», «наступил май», они не могут не говорить: «дождь идет», хотя дождь не обладает ногами, «погода подлая», хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам.

Один из древне-греческих философов — Ксенофан — утверждал, что если бы животные обладали способностью воображения, то львы представили бы себе бога огромным и непобедимым львом, крысы — крысой и т. д. Вероятно комариный бог был бы комаром, а бог туберкулезной бациллы — бациллой. Человек вообразил бога своего всеведущим, всесильным, всетворящим, т. е. наделил его лучшими своими стремлениями. Бог — только человеческая «выдумка», вызванная «томительно бедной жизнью» и смутным сознанием человека сделать своей силой жизнь более богатой, легкой, справедливой, красивой. Бог вознесен людьми над жизнью, потому что лучшим качествам и желаниям людей, зародившимся в процессе их труда, не было места в действительности, где идет тяжелая борьба за кусок хлеба. Мы видим, что когда передовые люди рабочего класса осознали, как следует перестроить жизнь для того, чтобы их лучшее получило свободу развития, — бог стал ненужен им, как выдумка уже пережитая. Исчезла необходимость прятать свое хорошее в бога, потому что понято, каким путем воплотить это хорошее в живую, земную действительность.

Бог создан так же, как создаются литературные «типы», по законам абстракции и конкретизации. «Абстрагируются» — выделяются — характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» — обобщаются в виде одного героя, скажем — Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца; выделяются черты наиболее естественные в каждом купце, дворянине, мужике и обобщаются в лице одного купца, дворянина, мужика, таким образом получаем «литературный тип». Этим примером созданы типы Фауста, Гамлета, Дон-Кихота, и так же Лев

Толстой написал кроткого, «богом убитого» Платона Каратаева, Достоевский — различных Карамазовых и Свидригайловых, Гончаров — Обломова и т. д.

Таких людей, каковы перечисленные, в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные и вот из них, мелких, как башни или колокольни из кирпичей, художники слова додумали, «вымыслили» обобщают «типы» людей, — нарицательные типы. Всякого лгуна мы уже называем — Хлестаков, подхалима — Молчалин, лицемера — Тартюф, ревнивца — Отелло и т. д.

Основными «течениями» или направлениями в литературе считаются два: романтизм и реализм. Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока еще нет, она не выработана. В романтизме необходимо различать тоже два, резко различных направления: пассивный романтизм, — он пытается или примирить человека с действительностью, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о «роковых загадках жизни», о любви, о смерти, — к загадкам, которые не разрешимы путем «умозрения», созерцания, а могут быть разрешены только наукой. Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всяческого гнета ее.

Но по отношению к таким писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать с достаточной точностью, — кто они, романтики или реалисты? В крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены. Бальзак — реалист, но он писал и такие романы, как «Шагреневая кожа», произведение очень далекое от реализма. Тургенев тоже писал вещи в романтическом духе, также как и все другие крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира.

Взаимное отношение реализма и романтизма будет для вас, товарищи, яснее, если вы остановите внимание ваше на вопросе: «почему возникает желание писать?» На этот вопрос есть два ответа, один из них даст моя корреспондентка, дочь рабочего, девушка 15-ти лет. Она говорит в письме своем:

«Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне появился

писательский талант, причиной которого послужило томительно бедная жизнь».

Было бы, конечно, правильней, если бы она сказала не «писательский талант», а — желание писать, для того, чтобы украсить своей «выдумкой», обогатить ею «томительно бедную жизнь». Тут возникает вопрос: о чем же можно писать, живя «бедной жизнью»?

На него отвечают инородческие племена Поволжья, Приуралья, Сибири. Многие из них еще вчера не имели письменности, но уже за десятки веков до наших дней они обогащали и украшали свою «томительно бедную жизнь» в глухих лесах, на болотах, в пустынных степях Востока и тундрах Севера песнями, сказками, легендами о героях, вымыслами о богах; вымыслы эти именуются «религиозным творчеством», но в существе своем они тоже художественное творчество.

Если бы у моей 15-летней корреспондентки действительно появился бы талант, — чего я, разумеется, от всей души желаю, — она, вероятно, писала бы так называемые «романтические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть. Гоголь написал «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветских помещиков», «Мертвые души», он же написал и «Тараса Бульбу». В первых трех вещах им изображены люди с «мертвыми душами» и это — жуткая правда; такие люди жили и живут еще до сего дня; изображая их, Гоголь писал, как «реалист».

В повести «Тарас Бульба» он изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них — красивая неправда. Тут, как во всех рассказах «Рудого Панька» и во многих других, Гоголь — романтик и, вероятно, потому романтик, что устал наблюдать «томительно бедную» жизнь «мертвых душ». Товарищ Буденный охал «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: — сам т. Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев.

Человек все еще во многом зверь, но вместе с этим он — культурно — все еще подросток, и приукрасит его, похвалит — весьма полезно; это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия к своим творческим силам.

К тому же похвалить человека есть за что, — все хорошее, общественно-ценное творится его силою, его волей.

Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? Да, защищаю, но при условии весьма существенного дополнения к «романтизму».

Другой корреспондент мой, 17 лет рабочий, кричит мне: «У меня так много впечатлений, что не писать я не могу».

В этом случае стремление писать объясняется уже не «бедностью» жизни, а богатством ее, перегруженностью впечатлений, внутренним позывом рассказать о них. Подавляющее большинство моих молодых корреспондентов хотят писать именно потому, что они богаты впечатлениями бытия, «не могут молчать» о том, что они видели, испытали. Из них выработается, вероятно, не мало «реалистов», но я думаю, что в их реализме будут и некоторые признаки романтизма, который неизбежен и законен в эпоху здорового духовного подъема, а мы переживаем именно такой подъем.

Итак, на вопрос: почему я стал писать? отвечаю: по силе давления на меня «томительно бедной жизни» и потому, что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог». Первая причина заставила меня попытаться внести в «бедную» жизнь такие вымыслы, «выдумки», как «Сказка о соколе и уже», «Легенда о горящем сердце», «Буревестник», а по силе второй причины я стал писать рассказы «реалистического» характера «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Озорник».

По вопросам о нашем «романтизме» необходимо знать еще следующее. До Чехова — рассказы «Мужики», «В овраге» — и Бунина, — «Деревня», все его рассказы о крестьянах, — дворянская наша литература любила и прекрасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «Христову правду», которой нет места в действительности, но о которой всю жизнь мечтают мужики, подобные Калинычу Тургенева из рассказа «Хорь и Калиныч» и Платону Каратаеву из «Войны и мира» Толстого. Таким кротким и выносливым мечтателем о «божеской правде» начали изображать крестьянина лет за 20 до отмены крепостного права, хотя в то время крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей темной соеды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, Губониных, Морозовых, Колчиных, Журавлевых и т. д. Вместе с этим процессом все чаще в журналистике вспоминалась колоссальная легендарная фигура выходящая из «мужиков» — Ломоносова, поэта и одного из крупнейших ученых.

Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древне-римским рабам «вольноотпущенникам», садились за один стол со своими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней, массе. Но дворянская литература как-будто не видела, не чувствовала этого и не изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни реальнейшего человека — строителя, стяжателя, «хозяина», продолжая любовно изображать кроткого раба, совестливого Поликушку. В 52 г. Лев Толстой пишет очень грустный очерк «Утро помещика», прекрасно рассказывая о том как рабы не верят доброте, либеральному владыке. С 62 г. Толстой начинает воспитывать крестьянских детей, отрицать «прогресс» и науку, убеждает: учиться хорошо жить у мужика, а с 70-х годов пишет рассказы для «народа», изображая в них христолюбивых, романтизированных мужиков, учит, что самая праведная и блаженная жизнь — в деревне, самый святой труд — мужицкий труд «на земле». А затем в рассказе «Много ли человеку земли нужно» он говорит, что земли надобно человеку всего три аршина, только на могилу.

Жизнь уже создавала из кротчайших христолюбцев — строителей новых форм экономической жизни, талантливых крупных и мелких «буржуа», хищников Разуваевых и Колупаевых, изображенных Глебом Успенским, а рядом с хищниками и мятежников, революционеров. Но все эти люди не замечались литературой дворян. Гончаров, в романе «Обломов», — одном из самых лучших романов нашей литературы, — противопоставил русскому обленевшемуся до слабоумия барину — немца, а не одного из «бывших» русских мужичков, среди которых он, Гончаров, жил и которые уже начинали командовать экономической жизнью страны. Если писатели дворяне изображали революционера, так это был или чужеземец-болгарин или бунтовщик на словах — «Рудин». Волевого, активный русский человек, как герой эпохи, оставался в стороне литературы, где-то «за пределами поля зрения» литераторов, хотя он заявлял о себе довольно шумно, — бомбами. Можно привести очень много доказательств того, что активный, призывающий к жизни, к деянию романтизм был чужд русской дворянской литературе. Шиллера она не смогла создать и вместо «Разбойников» превосходно изображала «Мертвые души», «Живой труп», «Мертвые дома», «Живые мощи», «Три смерти» и еще множество смертей. «Преступление и наказание» Достоевским написано как будто тоже в противовес «Разбойникам» Шиллера, а «Бесы» Достоевского — самая талантливая и самая злая из всех

бесчисленных попыток опорочить революционное движение 70-х годов.

Литературе разночинцев-интеллигентов активный социально-революционный романтизм тоже был чужд. Разночинец был слишком занят своей личной судьбой, поисками своей роли в драме жизни. Разночинец жил «между молотом и наковальней», молот — самодержавие, наковальня — «народ».

Повести Слепцова «Трудное время» и Осиповича-Новодворского «Записки ни павы, ни вороны», — очень правдивые, сильные произведения — рисуют трагическое положение умных людей, которые не имеют прочной опоры в жизни и живут «ни павы, ни воронами» или же становятся благополучными мещанами, как об этом рассказывал Кушевский и замечательно талантливый, умный, недостаточно ценимый Помяловский в своих повестях «Молотов» и «Мещанское счастье». Кстати, обе его повести весьма современны и очень полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно успешно начинает строить для себя дешевенькое благополучие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови своей за свое право строить социалистическую культуру.

Так называемые писатели-народники — Златовратский, Засодимский, Вологдин, Левитов, Нефедов, Бажин, Николай Успенский, Эртель, отчасти Станюкович, Каронин-Петропавловский, и много других усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина, который представлялся народникам социалистом по натуре, не знающим иной правды, кроме правды «общины», «мира» — коллектива. Первым, кто внушил такой взгляд на крестьянство, был блестяще талантливый барин А. И. Герцен, его проповедь продолжал Н. К. Михайловский, изобретатель двух правд: «правды истины» и «правды справедливости». Влияние этой группы литераторов на «общество» было не прочно и кратковременно, их «романтизм» отличался от романтизма дворян только слабой талантливостью, их мечтатели — мужички «Минай», «Митяи» — плохие копии с портретов «Поликушки», «Калиныча», «Каратаева» и прочих преподобных мужичков.

Примыкая к этой группе, но будучи более зоркими социально и талантливее всех, даже вместе взятых народников, работали два очень крупных литератора: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский. Они первые почувствовали и отметили разноречие деревни и города, рабочего и крестьянина. Особенно ясно было это Успенскому, автору двух замечательных книг: «Нравы Растеряевой улицы» и «Власть земли». Социальная ценность этих книг

не утрачена и для наших дней, да и вообще рассказы Успенского не потеряли своего воспитательного значения; литературная молодежь может хорошо поучиться у этого писателя уменью наблюдать и широте знаний действительности.

Выразителями резко отрицательного отношения к идеализации деревни являются А. П. Чехов в его упомянутых рассказах «Мужики», «В овраге» и в рассказе «На даче», а особенно резко это отношение выражено И. Буниным в повести «Деревня» и во всех его рассказах о крестьянстве. Крайне характерен тот факт, что также беспощадно изображают деревню писатели-крестьяне Семен Подъячев и Иван Вольнов, очень талантливый, все более заметно растущий писатель.¹ Темы — жизнь деревни, психика крестьянства, — живые темы наших дней, крайне важные, это начинающие литераторы должны хорошо понять.

Из всего сказанного достаточно ясно следует, что в нашей литературе не было и нет еще «романтизма», как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству, и далее — через мещанство — к возрождению классового государства, к эксплуатации крестьян и рабочих паразитами и хищниками. Именно такого «возрождения» ждут, о нем мечтают все враги Союза Советов, именно ради того, чтобы понудить рабочий класс к восстановлению старого, классового государства, они экономически блокируют Союз. Литератор-рабочий должен ясно понимать, что противоречие между рабочим классом и буржуазией — непримиримо, что разрешит его только полная победа или же гибель. Вот из этого трагического противоречия, из трудности задач, которые повелительно возложены историей на рабочий класс, и должен возникнуть тот активный «романтизм», тот пафос творчества, та дерзость воли и разума и все те революционные качества, которыми богат русский рабочий-революционер.

Разумеется, мне известно, что путь к свободе очень труден и не пришло еще время всю жизнь спокойно пить чай в приятной компании с красивыми девушками или сидеть сложа руки перед зеркалом и «любоваться своей красотой», к чему склонны очень многие молодые люди. Действительность все более настойчиво

¹ Иван Вольнов умер в 1930 году. Статья М. Горького относится к 1928 году. *Ред.*

внушает, что при современных условиях спокойнейшей жизни не устроишь, счастливым не будешь ни вдвоем, ни в одиночку, что мещанско-кулацкое благополучие не может быть прочным, — основы этого благополучия всюду в мире сгнили. Об этом убедительно говорят озлобление, уныние и тревога мещан всего мира, панихидные стоны европейской литературы, отчаянное веселье, которым богатый мещанин пытается заглушить свой страх перед завтрашним днем, болезненная жажда дешевых радостей, развитие половых извращений, рост преступности и самоубийств. «Старый мир», по истине, смертельно болен, и необходимо очень торопиться «отрясти его прах с наших ног», чтобы гнилостное разложение его не заражало нас.

В то время как в Европе идет процесс внутреннего распада человека, у нас, в трудовой массе развивается крепкая уверенность в своей силе и в силе коллектива. Вам, молодежи, необходимо знать, что уверенность эта всегда возникает в процессе преодоления препятствий на пути к лучшему и что эта уверенность — самая могучая творческая сила. Надобно знать, что в «старом мире» человечна, — а потому и неоспоримо ценна, — только наука; все же «идеи» старого мира, — за исключением идеи социализма — не человечны, потому что так или иначе пытаются установить и оправдать законность «счастья» и власти единиц, в ущерб культуре и свободе трудовой массы.

Не помню, чтобы я, в юности, жаловался на жизнь; люди, среди которых я начал жить, очень любили жаловаться, но, заметив, что они это делают из хитрости, для того, чтобы скрыть в жалобах свое нежелание помочь друг другу, — я старался не подражать им. Затем я довольно скоро убедился, что больше всего любят жаловаться люди, не способные к сопротивлению, не умеющие или не желающие работать и вообще люди со вкусом к «легкой жизни» за счет ближних.

Страх перед жизнью был хорошо испытан мною; теперь я называю этот страх — страхом слепого. Живя — как об этом рассказано мною — в обстановке весьма тяжелой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тяжестью труда одних и животным благополучием других; рано понял, что чем «ближе к богу» считают себя люди религиозные, чем дальше они от тех, кто работает на них, тем более беспощадна их требовательность к рабочим людям; вообще видел всякой мерзости житейской гораздо больше, чем ее видите вы. Кроме того, я ее видел в формах более отвратительных, потому что перед вами болтается мещанин, испуганный револю-

Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною; дошел я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе.

Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, — а испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей беззащитностью, безоружностью пред жизнью. Именно так. И мне кажется, что вам следует особенно хорошо подумать над этим, потому что страхи, стоны и жалобы кое кого из вашей среды тоже не что иное, как результат ощущаемой жалобщиками безоружности пред жизнью и их недоверия к своей способности бороться против всего, чем извне, — а также изнутри, — угнетает человека «старый мир».

Вы должны знать, что люди, подобные мне, были одиночками и пасынками «общества», а вас — уж сотни, и вы — родные дети трудового класса, который осознал свои силы, обладает властью и быстро учится ценить по заслугам полезную работу единиц. Вы имеете в лице рабоче-крестьянской власти — власть, которая должна и может помочь вам развить свои способности до совершенства, что она, постепенно, и делает. И делала бы гораздо более успешно, если бы ей не мешала жить и работать буржуазия, ее и ваш кровный враг.

Вам нужно запастись верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, «тренировкой» ее. Необходимо учиться побеждать в себе и вне себя дрянненькое наследие прошлого, а иначе — как же вы «отречетесь от старого мира»? Эту песню не стоит петь, если нет сил, нет желания делать то, чему она учит. Уже и маленькая победа над собою делает человека на много сильнее. Вы знаете, что тренируя свое тело человек становится здоровым, выносливым, ловким, — также следует тренировать свой разум, свою волю.

Вот одно из замечательных достижений такой тренировки: недавно в Берлине демонстрировалась женщина, которая, держа в каждой руке по два карандаша, а пятый в зубах, могла одновременно писать пять различных слов, на пяти разных языках. Это казалось бы совершенно невероятным и не потому, что физически трудно, а потому, что требует неестественного раздробления мысли, однако, — это факт. С другой стороны, факт этот указывает, как, в сущности, бесплодно тратит человек свои блестящие способности в хаотическом буржуазном обществе, где, для того, чтобы обратить на себя внимание, нужно ходить по улицам вверх ногами, устанавливать — едва ли практически по-

лезные — рекорды скоростей движения, играть в шахматы одновременно с двадцатью противниками, достигать незерогайнейших «трюков» в акробатике и стихосложении, вообще героически и головоломно фокусничать для развлечения скуки пресыщенных людей.

Вам, молодежь, надобно знать, что все действительно ценное, навсегда полезное и прекрасное, чего достигло человечество в областях науки, искусства, техники — создано единицами, которые работали в условиях невыразимо трудных, при глубоком невежестве «общества», враждебном сопротивлении церкви, своекорыстии капиталистов, при капризных требованиях «меценатов», — «пскровителей науки, искусства». Надо помнить также, что среди творцов культуры много простых рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон; что прядильный станок изобрел цирюльник Аркрайт, одним из лучших художников-гонимых был кузнец Бернар Палисси; величайший драматург мира Шекспир — простой актер, также как великий Мольер, — таких примеров успешной «тренировки» людьми своих способностей можно насчитать сотни.

Все это оказалось возможным для единиц, работавших не имея того огромного запаса научных знаний, технических удобств, которыми обладает наша современность. Подумайте же, насколько облегчены задачи культурной работы у нас, в государстве, где поставлено целью полное раскрепощение людей от бессмысленного труда, от цинической эксплуатации рабочей силы, — от эксплуатации, которая создает быстро вырождающихся богачей и грозит вырождением трудовому классу.

Перед вами стоит совершенно ясное и великое дело «отречения от старого мира» и создания нового. Дело это — начато. И, по примеру нашего рабочего класса, всюду растет. И какие бы препятствия ни ставил этому делу старый мир, — оно будет развиваться. К нему постепенно готовится рабочий народ всей земли. Создается атмосфера сочувствия работе единиц, которые теперь являются уже не осколками коллективов, а передовыми выразителями творческой воли его.

Перед такой целью, впервые смело поставленной во всей его широте, вопрос: «Что делать?» не должен бы иметь места. «Трудно жить?» Да — так ли уж трудно? И не потому ли трудно, что возросли потребности, что хочется много такого, о чем отцы ваши и не думали, чего они и не видели? И не стали ли вы излишне требовательны?

Я знаю, разумеется, что среди вас есть уже не мало таких, которым понятна радость и поэзия коллективного труда, — труда,

который стремится не к тому, чтобы накопить миллионы копеек, а к тому, чтобы уничтожить пакоетную власть копейки над человеком, самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле.

Отвечаю на вопрос: как я учился писать?

Впечатления я получал и непосредственно от жизни, и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьем, а второй — с полуфабрикатом или, — говоря грубо, чтобы сказать яснее, — в первом случае передо мной был скот, а во втором — снятая с него стлично обработанная кожа. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно — французской.

Мой дед был жесток и скуп, но — я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака «Евгения Гранде». Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего, но он — глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, не любимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить мое отношение к деду, но это было большим открытием — книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нем.

Скучная книга Джорджа Эллиота «Мидльмарч», книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем-Новгороде на Звездинской улице, но — немногим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед богом и любви к нему, однако они, — также как люди моей улицы, — не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но находил сходство.

Понятеля деда, разорившиеся купцы Иван Щуров, Яков Котельников рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Теккерея «Базар житейской суеты». Я учился грамоте по Псалтирю и очень любил эту книгу, — она говорит прекрасным музыкальным языком. Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалома, и мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут все хуже, становятся глупее, ленивее, стропртивы, не богобоязненны. Точно то же говорили лицемерные герои Дикенса.

Внимательно прислушиваясь к спорам сектантских начетчиков с попами, я замечал, что и те и другие так же крепко держатся за слово, как церковники других стран, что для всех церковников слово — узда человеку и что есть писатели очень похожие на церковников. В этом сходстве я скоро почувствовал что-то подозрительное, хотя — интересное.

Никакой системы и последовательности в моем чтении, конечно, не было, все совершалось случайно. Боат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские «бульварные» романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Законнэ, Бувье, а прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались «нигилисты»-революционеры. Я тоже прочитал «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Некуда» и «На ножах» Стебницкого-Лескова, «Марево» Клюшников, «Взбаломученное море» Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня «прогуляться» с ним. «Революционность» этих людей осталась, конечно, не понятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали «революционеров» одной сажей.

Случайно попались в мои руки рассказы Помяловского «Молотов» и «Мещанское счастье». И вот, когда Помяловский показал мне «томительную бедность» мещанской жизни, нищенство мещанского счастья, я, хотя и смутно, а все-таки почувствовал, что моачные «нигилисты» чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помяловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина «Темные и светлые стороны русской жизни», светлых сторон я в ней не нашел, а темные стороны стали для меня понятней и противней.

Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения.

Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ошутимыми, и притом я их видел всегда более активными, чем русские, — они меньше говорили, больше делали.

Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как писателя, оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники,

величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества «бульварных» романов, после Майн-Рида, Купера, Густава Эмара, Понсон-де-Террайля, — рассказы великих художников вызвали у меня впечатление чуда.

Помню, — «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, — так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и, — я не выдумываю, — несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса.

Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю «Итальянские хроники» Стендаля и снова не могу понять — как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы точно «жития святых» или слышу «Сон богородицы» — повесть о ее «хождении по мукам» людей в аду.

И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака «Шагреновая кожа» поочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но, главное, — в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.

Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книжки Бальзака написаны как бы масляными красками, и когда я впервые увидал картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книжки Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже «93-й год» я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познако-

мился с романом Анатолия Франса «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.

Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло не плохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова.

«Большую» русскую литературу — Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, все еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.

Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.

Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорило. Даже читая книжки таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях «Записок охотника» иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, «босяки», плотники, железнодорожные рабочие, «странники по святым местам» и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах я все чаще ловил себя на том, что рассказывал не верно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.

Слушали меня интеллигенты и советовали:

— Пишите! Попробуйте писать.

Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило, огорчало и радовало меня, хотел рассказать,

чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать, что стекольник Анатолий, — мой друг, талантливый парень, — погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза — хороший человек и несправедливо, что она — проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, также как не видят, что «Матица», старуха нищая, — умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.

Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда Предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи я писал легко, но видел, что они — отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав, однако, стиль прозы «ритмической», находя простую — непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» — и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.

Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница, — описание ливня в степи, — написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго греследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например, так: «Лучи луны прошли сквозь ветви кизила

и цепкие кусты держи-дерева» и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что «лучи луны» читаются, как лучины, а «прошли» — не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня «Извозчик извлек из каомана кiset», — эти три «из» рядом не очень украшали «томительно бедную жизнь». Вообще я старался писать «красиво».

«Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала», — а ночь — по моим же словам — была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие «описки» и «обмолвки» встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестоко ругал себя за это.

«Море смеялось» — писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

«А печь стоит у вас не так», — заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»:

«У нее, батенька, три уха, одно — на подбородке, смотрите!» Это было верно, — так неудачно я посадил женщину к свету.

Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно», чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело — «окрашивать» словами людей и вещи, другое — изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев «Войны и мира» у Толстого.

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди ее — как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони».

Мне показалось, что я написал хорошо, но когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.

Вообще — слова необходимо употреблять с точностью самой

строгой. Вот пример из другой области: было сказано: «Религия — опиум».

Но врачи дают опиум больным, как средство, утоляющее боль, значит — опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум — яд, значительно более вредный, чем водка-алкоголь, — широким массам неизвестно.

Мои неудачи всегда заставляют меня вспомнить горестные слова поэта:

«Нет на свете мук, сильнее муки слова».

Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке «Муки слова», изданной Госиздатом в 1927 году. Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию «молодых товарищей по перу».

«Холоден и жалок нищий наш язык», — сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на «нищету» языка.

Я думаю, что это жалобы на «нищету» не русского, а вообще человеческого языка и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но минув «неуловимое словом», русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка стоит только сравнить запасы слов — лексиконы — Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, он мог бы сказать, что в некоторых отношениях — укажу на оценку разума — он зависим и от Льва Толстого. Но обе эти зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразия его. В романе «Вор» он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов — человек какой-то «своей песни», очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной.

Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Художник — чувствилище своей страны, своего класса, уха, око и сердце его; он — голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно, необходимо знать историю народа и также необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые, — историки культуры, этнографы, — указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной, и начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом, не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему: количественно преобладающим населением страны Советов является крестьянство, та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых не что иное, как сжатые поучения церковников. «Сильную руку — богу судить», «Подумаешь — горе, раздумаешь — божья воля». «Где смерд подумал, там бог не был», «Ты богу угоди, а сам думать — погоди!», «Тише едешь — дальше будешь», «Не в свои сани не садись», «Всяк сверчок знай свой шесток», — существуют сотни таких пословиц и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, «отцов церкви» Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и других.

Когда я читал книги «консерваторов», «охранителей и защитников самодержавного строя», в книгах этих я не находил ничего нового для себя именно потому, что каждая страница их повторяла в развернутой форме, — в расширенном толковании, — ту или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов — К. Леонтьева, К. Победоносцева и других — пропитана той «народной мудростью», в которой наиболее крепко сжата церковность.

Есть разумеется, значительное количество пословиц другого смысла, например: «Нам — жить в кротости, а нас палкой по кости». Богом барину — телятинка жарена, а мужику — хлебушка краюха, да — в ухо», «Живем — не тужим, бар не хуже,

они — на охоту, мы — на работу, они — спать, а мы — опять, они выспятся, да — за чай, а мы цепом качай».

Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и разворачивать слова, крепко сжатые другими, разворачивать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.

Я очень много учился на пословицах, — иначе: на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метет улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал:

«Хороша метла, а сорье — не вымести до тла, я его подмету, а соседи поднесут».

Мне стало ясно: дворник верно сказал, Если даже и соседи подметут участки свои, — ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.

Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создается: в Нижнем-Новгороде начались заболевания холерой, и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но проработав некоторое время мещанин, будто бы, благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

«Окунувшись башкой в правду — врать не станешь!»

Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А, впрочем, все равно, кто сказал их.

Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, «бывших» и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом, факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.

О том, как создаются мастерами слова «типы» и характеры, я уже говорил выше, но может быть следует указать два интересных примера:

«Фауст» Гете — один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда «выдумка», вымысел или, вернее, «домысел» и — воплощение мысли в образ. «Фауста» я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гете о Фаусте писал англичанин Христофор Марлоу, что польский «лубочный» роман «Пам

Твардовский» — тоже «Фауст», также как роман француза Поля Мюссе «Искатель счастья», и что основой всех книг о «Фаусте» служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людьми продал душу свою черту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых «алхимиков», которые стремились делать золото, выработать эликсир бессмертия. Среди этих людей были честные мечтатели, «фанатики идеи», но были и шарлатаны, обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь «высшей власти» и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам черт не помог достичь всезнания, бессмертия.

А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура тоже известная всем народам: в Италии это — Пульчинелло, в Англии — Понч, в Турции — Карапет, у нас — Петрушка. Это — непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и все: полицию, попов, даже черта и смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что — в конце концов — именно он преодолест все и всех.

Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше: «анонимное» творчество, т. е. творчество каких-то неизвестных нам людей,¹ тоже подчиняется законам абстракции — отвлечения характерных черт той или иной общественной группы и конкретизации — обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение художника этим законам и помогает ему создавать «типы». Так Шарль де-Костер сделал «Тиль Уленшпигеля» — национальный тип фламандца, Ромен Роллан — бургонца «Кола Бренвон», Альфонс Додэ — провансальца «Тартарена». Создавать такие яркие портреты «типичных» людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, умения находить сходства, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок — девять ошибки.

Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы, художественно равноценные типам и характерам Обломова, Рудина, Рязанова² и т. д. Но все же для того, чтобы написать

¹ Мы имеем право называть это творчество «народным», потому что оно возникало, наверное, в цехах ремесленников для представления на сцене во дни цеховых праздников.

² Очень хорошо сделанный Слепцовым в повести тип интеллигентно-разночинца «Трудное время».

«Фому Гордеева», я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, «томительно бедной жизни», — мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей в одну сторону выходили пьяницы, «прожигатели жизни», хулиганы, а в другую отлетали «белые вороны», как Савва Морозов, на средства которого издавалась Ленинская «Искра», как пермский пароходчик Н. А. Мешков, снабжавший средствами партию эсеров, калужский заводчик Гончаров, москвич Н. Шмит и еще многие. Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милаутин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и т. д. Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из «пословиц», и я не ошибся: после 1905 года, — после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, — Маякины, как известно, играли не малую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда.

Молодежь ставит мне вопрос: почему я писал о «босяках»?

Потому что, живя в среде мелкого мещанства, видя перед собою людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как 19-летний корреспондент мой, «всем своим трепетом» возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.

Босяки явились для меня «необыкновенными людьми». Необыкновенно в них было то, что они, люди «деклассированные», — оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, — утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в «Миллионке», среди «золотой роты» дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, коротким мечтателем, с художником итальянцем Тонтини, учителем гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабеж, и со знаменитым вором «Николкой-генералом», настоящая фамилия которого была Фан-дер-Флит.

В Казани, на «Стеклянном заводе», жило человек двадцать таких же разношерстных людей. «Студент» Радлов или Радунов;

старик тряпичник, отбывший десять лет каторги; бывший лакей губернатора Андриевского Васька Грачик; машинист Родзиевич, сын священника, белорусс; ветеринар Давыдов. В большинстве своем люди эти были нездоровы, алкоголики, жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи, все, что им удавалось заработать или украсть, — пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже «обыкновенных людей», но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, в них еще остались признаки «хозяйственности» и любовь к «порядочной» жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачик, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал ее «казначее» Родзиевичу, который распоряжался «хозяйством» завода бесконтрольно и был удивительно мягкий, безвольный человек.

Помню несколько сцен такого рода: кто-то украл и принес хорошие охотничьи сапоги, решено было пропить их. Но Родзиевич, больной, за несколько дней перед этим избитый полицией, сказал, что пропить следует только голенища, а головки отрезать и дать «Студенту», он ходит в развалившихся опорках.

«Застудит ноги — сдохнет, а человек хороший».

Головки отрезали, но старый каторжанин предложил сшить из голенищ две пары лаптей, одну — для себя, другую — для Родзиевича. Так и не пропили сапоги. Грачик объяснял свою дружбу с этими людьми и щедрую помощь им своей любовью к «образованным».

«Я, брат, образованного человека люблю пуще красивейшей женщины», — говорил он мне. Это был странный человек, черноволосый, с тонким красивым лицом, с хорошей улыбкой; всегда задумчивый, малословный, он вдруг взрывался буйным, почти бешеным весельем, плясал, пел, рассказывал о своих успехах, обнимался со всеми, точно уходил на войну, на смерть. На его средства в Задней Мокрой улице, — где теперь Московский вокзал, — в подвале трактира Бутова кормилось человек восемь каких-то нищих, стариков и старух, а среди них молодая сумасшедшая женщина с годовалым ребенком. Вором он стал так: будучи лакеем губернатора, провел ночь с своей возлюбленной, а утром, возвращаясь домой, похмельный, выхватил у бабы молочницы стойку молока и начал пить; его схватили, стал драться; строгий мировой судья Колонтаев, великий либерал, посадил его в тюрьму. Васька, отсидев срок наказания, залез в кабинет Колонтаева, изорвал у него бумаги, стащил будильник, бинокль и снова попал в

тюрьму. Я познакомился с ним, когда его после неудачной кражи в Татарской слободе преследовали ночные сторожа, одному из них я подставил ногу, этим помог Василию убежать и сам побегал с ним.

Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни «обывателей» говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому, что «видит око, да зуб неймет», а, как будто, из гордости, из сознания, что живут они — плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет «хорошо».

Изображенного мною в «Бывших людях» содержания ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому обвинителю и потерпевшему — трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлен был я беззлобной насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу. — «Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!»

Он мне напомнил «благородных» героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе и, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил: — «Может — займешься со мною хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет».

Я был очень польщен этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство.

Так вот чем объясняется мое пристрастие к «босякам» — желанием изображать людей «необыкновенных», а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская. Но главным образом тут действовало желание прикрасить за свой счет — «вымыслом» — «томительно бедную жизнь», о которой говорит 15-летняя девушка.

Это желание, как я уже сказал, называется «романтизмом». Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно.

Философский идеализм учит, что над человеком, животными и над всеми вещами, которые человек создает, существуют и главенствуют «идеи»; они служат совершеннейшими образцами всего,

творимого людьми, и человек, в деятельности своей, вполне зависит от них, вся его работа сводится к подражанию образцам, «идеям», бытие которых он, якобы, смутно чувствует. С этой точки зрения где-то над нами существует идея кандалов и двигателя внутреннего сгорания, идея туберкулезной бактерии и скорострельного ружья, идея жабы, мещанина, крысы и вообще всего, что существует на земле и что создается человеком. Совершенно ясно, что отсюда вытекает неизбежность признать бытие творца всех идей, какое-то существо, за чем-то создающее орла и вошь, слона и лягушку.

Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он и только он является творцом всех вещей и всех идей, именно он чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чем убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому «преклоняюсь», что кроме воплощений его разума, его воображения, его домысла — не чувствую и не вижу ничего в нашем мире. Бог есть такая же человечья выдумка, как, например, «светопись», с той разницей, что «фотография» фиксирует действительно существующее, а бог — снимок с выдумки человека о себе самом, как о существе, которое хочет — и может быть — всезнающим, всемогущим и совершенно справедливым.

И если уж надобно говорить о «священном», — так священо только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд.

ПИСЬМА НАЧИНАЮЩИМ ЛИТЕРАТОРАМ

I

Начинать рассказ «диалогом» — разговором — прием старинный, художественная литература давно забраковала его.

Для писателя он невыгоден, потому что почти всегда не действует на воображение читателя.

К чему сводится работа литератора? Он воображает, — укладывает, замыкает в образы, картины, характеры — свои наблюдения, впечатления, мысли, свой житейский опыт. Произведение ли-

тератора лишь тогда более или менее сильно действует на читателя, когда читатель видит все то, что показывает ему литератор, когда литератор дает ему возможность тоже «вообразить» — дополнить, добавить — картины, образы, фигуры, характеры, данные литератором, из своего, читательского, личного опыта, из запаса его, читателя, впечатлений, знаний. От слияния, совпадения опыта литератора с опытом читателя и получается художественная правда, — та особенная убедительность словесного искусства, которой и объясняется сила влияния литературы на людей.

Начинать рассказ разговорной фразой можно только тогда, когда у литератора есть фраза, способная своей оригинальностью, необычностью тотчас же приковать внимание читателя к рассказу.

Вот пример: летом этим на волжском пароходе какой-то пассажир третьего класса произнес:

«Я тебе, парень, секрет скажу: человек помирает со страха. Старики, — они, конечно, от разрушения тела мрут...»

Конец фразы я не слышал и человека — не видел; это было ночью, я стоял сверху на корме, он внизу.

Начинать рассказы речью такого оригинального смысла можно и следует, но всегда лучше начинать картиной — описанием места, времени, фигур, сразу ввести читателя в определенную обстановку.

В рассказе «Баба»¹ я, читатель, не вижу людей. Какой он, — Прохоров? Высокий, бородатый, лысый? Добродушный, насмешливый, угрюмый? Говорит он плохо, нехарактерно, стертыми словами: «Баба останется бабой» — это пророчество следовало бы усилить словом — «навсегда», чтобы чувствовалась устойчивость взгляда Прохорова на бабу. Для оживления смысла таких стертых слов, — для того, чтобы яснее видна была их глупость, пошлость, — писатель должен искать и находить свои слова. Ему не мешало бы дать пяток, десяток насмешливых словечек, он мог бы назвать Анну «крысавица», вместо красавица. Фраза автора: «рабочий завода, проработавший более сорока лет на одном заводе» — плохо сделана: слово — «завода» — лишнее, «рабочий, проработавший» слишком рычит, проработать сорок лет «на одном заводе» — многовато, была революция, была гражданская война, завод наверно стоял в это время. Там, где не соблюдается точность описаний, там отсутствует правда, а наш читатель правду знает. «Рубцы на спине» токаря нужно было объяснить, — рубцы могут быть результатом хирургической операции, чирьев, удара ножом в драке, и, конечно, порки.

¹ Рассказы «Баба» и «Любовь», разбираемые в этом «Письме», напечатаны в журнале «Лит. Учеба», № 1. 1930 г. *Ред.*

«Громогласно против», — эти слова как будто указывают, что Прохоров способен говорить довольно оригинально, «по-своему», на то же указывает и его привязанность к слову «стандартный». Но автор, намекнув на эту способность Прохорова, не развил ее. Не сделал он этого потому, что смотрит на токаря не как на живого человека, а как на мысль, которую надо оспорить, опровергнуть. Писатель должен смотреть на своих героев именно как на живых людей, а живыми они у него окажутся, когда он в любом из них найдет, отметит и подчеркнет характерную, оригинальную особенность речи, жеста, фигуры, лица, улыбки, игры глаз и т. д. Отмечая все это, литератор помогает читателю лучше видеть и слышать то, что им, литератором, изображено. Людей совершенно одинаковых — нет, в каждом имеется нечто свое, и внешнее и внутреннее.

На картине встречи Анны следовало остановиться подробнее. Старые рабочие высмеивали Анну, конечно, больше и более ядовито, чем это показано автором. Предубеждение против равноправия женщины в жизни и в труде коренится в самцах очень глубоко, даже и тогда, когда самцы «культурны». У нас оно, к чести нашей, менее резко выражено, чем, например, в Италии, Испании, Франции и в Германии; работа женщин во время войны и в тяжелых условиях послевоенного времени несколько поколебала это древнее предубеждение. Но и у нас змея еще не переменяла кожу.

У молодежи, вероятно, было иное отношение к «бабе». Автор не ошибся бы, отметив у одного парня — желание понаравиться Анне, приписав другому — защиту ее из желания противоречить старикам, заставив третьего — побалагурить. Это очень оживило бы сцену. Анну читатель не видит. Какая она: рыжая? высокая? толстая? курносая? Как ведет она себя в этой сцене?

Не может быть, чтоб все сразу удивились и замолчали. Через несколько минут снова все удивляются, когда «забегал резец, обтачивая конусную шестерню с особыми причудами к какой-то машине». Читателю не ясно: куда автор относит «причуды» — к процессу работы Анны или — к шестерне? И было бы лучше, если бы не «всякий видел уменье, ловкость Анны, а видел это сам автор и сумел бы показать читателю. Анна «незаметно улыбалась» — для кого — незаметно? Если автор заметил эту улыбку, — ее должны были заметить и рабочие, тогда она послужила бы поводом для кого-нибудь из них отозваться на эту улыбку так или иначе и этим снова оживить сцену. Улыбка была бы оправдана, если б автор подробнее и картинно изобразил уверенность и ловкость работы Анны.

Эту сцену тоже следовало развить, расширить, показать чи-

тателю-настроение Прохорова, его боязнь «осрамить» себя. Он должен был или усилить свое отрицательное отношение к бабе или же, наоборот, — сконфуженно, мимоходом сказать ей несколько слов в таком смысле: «Не выдай, не подгады!» Это он мог бы сказать ей с глазу на глаз, а при товарищах — повторить свое: «Баба и останется бабой».

«Смертельно раненый волк» и «вонзить зубы в врага» — эти слова совершенно неуместны и не украшают рассказа. Они — не в тоне рассказа, потому что крикливы. Рассказ, вообще, весь написан небрежно, без любви к делу, без серьезного отношения к теме. Язык автора — беден. В двух фразах автор трижды говорит: «с напряжением работая», «напрягая все силы», «напрягая силы», это — плохо. На той же странице волк „напрягает последние силы“.

«Как ни в чем не бывало прошло два месяца» — что это значит? Два месяца времени ни на кого и никак не влияли, ничего не изменили? Даже часа нет такого, который не внес бы в жизнь нашу каких-то изменений.

«Праздношатаи гремели раскатистым смехом, посылая по его адресу всевозможные остроты». По адресу смеха?

«Бывает, что и баба дело знает и мужику рекорд побивает» — такой «старой русской пословицы» — нет. Рекорд — слово нерусское и новое. «Пришкандыбал» — слово уместное в речи, но не в описании, да и в речи не следует часто употреблять такие словечки, — язык наш и без них достаточно богат. Но у него есть свои недостатки и один из них — шипящие звукосочетания: вши, вша, вшу, ша, шей. На первой странице рассказа вши ползают в большом количестве: «прибывшую», «проработавший», «говоривших», «прибывшую». Вполне можно обойтись без насекомых.

Тема рассказа — очень значительна и серьезна, однако, как уже сказано, автор этой значительности не чувствует. Разумеется, редакция отнюдь не ставит этого в вину ему, — у нас даже признанные и даровитые литераторы то-и-дело сгоряча компрометируют, портят, засоряют очень важные и глубокие темы хламом торопливых, непродуманных слов. Тема рассказа «Баба» — один из эпизодов массового и властного вторжения женщин во все области труда и творчества, на все пути строительства новой культуры, нового быта. Сказано: «Без активного участия женщины невозможно построить социалистическое государство». Это — неоспоримая истина. Она обязывает искреннего социалиста изменить свое, все еще древнее, и не только пошлое, но и подлое отношение к женщине, как существу, которое «ниже» мужчины. Эта оценка женщины усердно и успешно вкоренялась в сознание людей обоего пола церковью, монашеством.

Существует только одно и чисто зоологическое основание для такого предрассудка: во всем животном мире самец — за некоторым ничтожным исключением — физически сильнее самки. Других оснований для «унижения» женщины — нет. Талантливых и «великих» женщин меньше, чем таких же мужчин лишь потому, что, как известно, женщины не допускались к общественной работе. Но вот мы видим, что женщины горных племен Кавказа, туземных племен Сибири, Средней Азии, Китая — женщины, которые еще вчера считались только рабынями и почти рабочим скотом, сегодня обнаруживают способность к работе культурно-революционной.

Факт массового вторжения женщины во все области труда, создающего культурные ценности, может и должен иметь глубочайшее значение уже потому, что, веками приученная к мелкой и точной работе, она окажется более полезной в тех производствах, которые требуют именно строгой точности и куда внесет свое, тоже веками воспитанное в ней, стремление украшать.

Писатель обязан все знать — весь поток жизни и все мелкие струи потока, все противоречия действительности, ее драмы и комедии, ее героизм и пошлость, ложь и правду. Он должен знать, что каким бы мелким и незначительным ни казалось ему то или иное явление, оно или осколок разрушаемого старого мира, или росток нового.

Автор рассказа «Баба» не знает этого, так же как и автор новеллы «Любовь».

Не совсем понятно, зачем автор этот наименовал свой рассказ «новеллой». Новелла — краткая повесть и требует строго-последовательного изложения хода событий. «Любовь» — не удовлетворяет этому требованию. Так же как «Бабу» ее начинает неудачная фраза — вопрос забойщика.

«Вы знаете я, наверное, помните». Один из глаголов этой фразы — лишний: — то, что мы знаем, мы помним, а того, что нами забыто, мы уже не знаем.

Вопрос забойщика остается без ответа, автор начинает описывать место, где сидит забойщик и его слушатели. Сидят они в «нарядной», для читателя, незнакомого с работой шахтера, не сразу ясно: что такое — нарядная? Можно рядиться в праздничное платье и — на работу. Писать следует точно и обязательно избегать употребления глаголов двоякого значения. Последовательность изложения немедленно, вслед за вопросом забойщика, прерывается спором о любви, и весь этот спор, вплоть до начала рассказа Черенкова, — совершенно не нужен, ибо ничего не дает читателю.

Этот автор грамотнее и бойчее автора «Бабы». Но все же лучше писать «в шинелях английского покроя», чем «в английском покроя шинелях».

Забойщик Черенков рассказывает о некоем чрезмерно удачливом Мише, который совращает четыре роты — батальон — белых солдат, «сводит с ума всех мобилизованных солдат и даже добирается до младшего офицерского состава».

Читатель должен бы восхищаться подвигами Воронова, но — читатель сомневается.

— Гм? Белое офицерство было весьма натаскано в политике. Существовал «Осваг». Любой белый офицер должен бы прекратить Мишу...

Но когда читатель знакомится, как Миша повел себя с девчонкой, подосланной контр-разведкой для уловления его, и как бездарно вела себя эта контр-разведка — читатель ощущает желание сказать автору:

«Ты — ври, но так, чтоб я тебе верил».

До конца эта «новелла» дочитывается с трудом. В конце к «новелле» пристроена мораль или, как говорит забойщик Черенков — «соль». «Отдавать за любовь, за женщину все — партию, товарищей, революцию — глупо и недопустимо, в такой же степени, как и безобразно».

В разных вариантах мораль эта повторяется автором трижды. Пишет автор бойко, — но небрежно. Примеры: «... она закатывала такие истерики и так вопила, что он» — прятался от нее, кричал на нее? — Нет: «что он лишил ее блестящего заработка и теперь, мол, должен содержать ее, что он и мысли о том, чтобы бросить ее, забывал».

Это непростительно небрежно.

«Мы молчали, собираясь с мыслями и оценивая правильность завязавших спор сторон».

Автор достаточно грамотен и, конечно, сам заметил бы погрешности языка, если бы относился к делу с должным увлечением. Но увлечения делом, любви к нему не чувствуется у автора «новеллы», пишет он «с холодной душой». В форме очень наивной, он поставил вопрос: что значительнее — личное счастье единицы или историческая задача рабочего класса, — революция, строительство нового мира? Автор не показал, как сам он «оценивает правильность завязавших спор сторон», он, вообще, ничего не показал, и этим вызывается у читателя такое впечатление, что большой вопрос поставлен автором равнодушно и только из любопытства или «от скуки жизни». Мне кажется, что, пожалуй, вернее всего — последнее. В недоброе старое время большие вопросы до-

вольно часто ставились «от скуки жизни». Например, знакомый мой лесник говорил мне: «Сажу я тут в сторожке, как сыч в дупле, людей вокруг — ни одной собаки, днем выспишься, — ночью не спишься, лежишь вверх носом — звезды падают, чорт их знает — куда!»

И — спрашивал:

«А, что, брат, ежели звезда на рожу капнет?»

В другой раз он же заинтересовался:

«Не нашли средства покойников воскрешать?»

«Зачем тебе покойники?»

«У меня тетка больно хорошо сказки рассказывала, вот бы мне ее сюда!»

Было ему, в ту пору, лет пятьдесят, и был он так ленив, что даже не решился жениться, прожил свои годы холостым.

Такие люди, как тот лесник, встречались нередко, писатели «народники», считая их «мечтателями», весьма восхищались ими. На мой взгляд — это были неизлечимые бездельники и лентяи. С той поры прошло четыре десятка годов, и вот, уже в двенадцать лет рабочий народ страны нашей встал на ноги, взялся за великое и трудное дело создания социалистического государства, постепенно разрушает старое, творит новое, жизнь полна драм, полна великих и смешных противоречий, явились новые радости и ползают по земле нашей тени радостей. Новые скорби, для многих — старое дорого и мило, новое — непонятно и враждебно, люди горят и плаваются, растет новый человек. Странно, что в такие дни живут люди, способные писать равнодушные «новеллы» и ставить вопрос: что лучше — вся жизнь, со всем разнообразием ее великих задач, ее драм и радостей или жизнь «с хорошей бабой», с бабой, ради которой «ничего не жалко»?

Бытие таких «новеллистов» можно объяснить только их зеленой молодостью и слепотой, а причина слепоты — малограмотность.

II

— Так как Ваш рассказ Вы не прислали мне, — судить о достоинствах или недостатках его я, разумеется, не могу.

Указание Ваше на «несправедливое» отношение московских журналов к начинающим писателям совершенно необосновано в Вашем случае. «Беднота» нашла Ваш рассказ «неплохим» — и только, но это еще не значит, что рассказ хорош. «Крестьянская молодежь» подтвердила отзыв «Бедноты», указав Вам, что над рассказом «надо поработать». А Вы пишете: «Получилось очень страшно: «Беднота» — хвалит, «ЖКМ» — ругает», тогда как Вас

не хвалят и не ругают, а справедливо говорят Вам: учитесь работать!

Вы, «начинающие», жалуетесь на редакторов крайне часто и в большинстве случаев, действительно, несправедливо. Вам надо знать, что в старое время, до революции, редактора журналов получали за год несколько сотен рукописей, огромное большинство которых было бездарно, но все они, в массе, были формально более грамотны, чем рукописи современных начинающих. В наше время редактора получают тысячи рукописей, тоже в огромном большинстве бездарных, да к тому же — и безграмотных. По личному опыту моему и писателем моего поколения, я должен сказать, что отношение старых редакторов к нам, «начинающим», было несравнимо небрежнее и равнодушнее, чем отношение редакторов советских. В частности, это мое убеждение подтверждается товарищеским отношением к Вам со стороны редакции «Бедноты» и «ЖКМ».

Стихи я понимаю плохо и, может быть, поэтому Ваших стихов не могу похвалить. В стихотворении «После дождя» в одной строфе у Вас — пруд, в другой — он превратился в озеро. Это не оправдано Вами.

Думаю, что «над прудом» и «не будет» — не рифмы или очень плохие рифмы. Не понимаю, что значат строки:

„Жизнь моя — радость минутная
Бело свежейшей мглы“.

«Шей» в стихах — не люблю, так же как и «вшей» и «ужей».

Далее. Вы жалуетесь на то, что, будучи «беспартийным коммунистом» по убеждениям Вашим, не можете попасть ни в комсомол ни в один из вузов, как «сын бывшего попа».

Это, конечно, тяжелое положение и не один Вы протестуете против такого отношения со стороны рабоче-крестьянской власти к выходцам из буржуазных классов.

Но, к сожалению, недоверчивое и суровое отношение рабоче-крестьянской власти к этим выходцам совершенно оправдывается поведением весьма многих выходцев. До поры, пока работа советской власти и партии коммунистов они, выходцы, рассматривали как социальный опыт, который, казалось им, может быть и даже наверное не удастся, — они служили делу рабочего класса покорно, как собаки, комнатные и цепные. Но теперь, когда им становится ясно, что строительство социализма в Союзе Советов уже не только удачный опыт, а — великое, практически быстро растущее дело, смелое начало всеобщего мирового движения массы трудового народа, когда им ясно, что назад, к старым поряд-

кам пути закрыты, — они трусливо бегут туда, где еще остались старые хозяева, где еще можно послужить собаками, получив кусок более жирный и не беря на себя той великой ответственности перед пролетариатом всех стран, которую мужественно взял на себя рабочий класс Союза Советов.

Они бегут, предавая все и всех, что и кого могут предать непримиримым врагам рабочих и крестьян. Таких предателей — немало. Сейчас двое из них наполняют прессу европейской буржуазии и газетки эмигрантов подленькой и грязной болтовней о том, как они несли свою собачью службу единственно законным хозяевам земли — рабочим и крестьянам.

Совершенно естественно, что факты такого гнусного предательства не могут не вызвать у крестьян и рабочих доверия к выходцам из среды буржуазии. Точно также естественно и неизбежно, что за подлость некоторых должны потерпеть многие искренние друзья и товарищи рабочего класса. Но они должны винить за свои страдания не рабочий класс, а предателей рабочего класса.

Чем более глубоко и широко будет осуществлять наш рабочий класс свою историческую задачу, — тем дальше будут отскакивать от него люди неискренние, люди механически приспособившиеся к нему, к его работе. Но тем однороднее, крепче будет класс, тем более мощно станет влияние его партии на массу.

III

Рассказы Ваши прочитал.

Вы прислали два черновика, оба написаны «на скорую руку», непродуманы и до того небрежны, что в них совсем не чувствуется автор тех двух очерков, которые я Вам обещал напечатать и которые подкупили меня своим бодрым настроением.

Хуже того, — в «Обгоне» и «Вызове» не чувствуешь ни любви к литературной работе, ни уважения к читателю, а если у Вас нет ни того, ни другого, — Вы не научитесь писать, и не быть Вам полезным работником в области словесного искусства.

Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант — в сущности его — и есть только любовь к делу, к процессу работы. Уважение к читателю требуется от литератора так же, как от хлебопека: если хлебопек плохо промешивает тесто, если из-под рук в тесто попадает грязь, сор, — значит хлебопек не думает о людях, которые будут есть хлеб или же считает их ниже себя, или же он — хулиган, который, полагая, что «человек не свинья, все съест», нарочно прибавляет в тесто

вряд. В нашей стране наш читатель имеет особенное, глубоко обоснованное право на уважение, потому что он — исторически — юнгоша, который только что вошел в жизнь и книга для него — не забава, а орудие расширения знаний о жизни, о людях.

Судя по тому, как Вы разработали тему рассказа «Обгон», Вы сами относитесь к действительности нашей очень поверхностно.

Тема рассказа — нова и оригинальна: мать, ткачиха, соревнуется с дочерью в работе; на соревнование вызвала ее дочь, но мать, работница более опытная, победила дочь. Победа матери требовала от Вас юмористического отношения к дочери, это было бы весьма поучительно для многих дочерей и сыновей и было бы более правдиво. Победа эта не могла не вызвать со стороны старых рабочих хвастовства перед молодежью своим опытом, — это Вами не отмечено. Вы догадались, что соревнование должно было повлиять на домашние, личные отношения матери и дочери, но не договорили этого. Пред Вами была хорошая возможность показать на этом, сравнительно, мелком факте взаимоотношения двух поколений. Вы этой возможности не использовали. В общем же Вы скомкали, испортили очень интересную тему, совершенно не поняв ее жизненного значения.

Как все это написано Вами? Вы начинаете рассказ фразой:

«Вечер не блистал красотой». Читатель вправе ждать, что автор объяснит ему смысл этой странной фразы, расскажет: почему же «вечер не блистал»? Но Вы, ничего не сказав о вечере, в нескольких строчках говорите о поселке, которому «не досталось своей невеликой части кудрявой весны». Каждая фраза, каждое слово должно иметь точный и ясный смысл. Но я, читатель, не понимаю: почему поселку «не досталось невеликой части весны»? Что же — весну-то другие поселки разобрали? И — разве весна делится по поселкам Иваново-Вознесенской области не на равные части?

Далее, — через шесть строк Вы пишете:

«Нестерпимая тишина была прижата синечерным небом и задыхалась в тесноте». Почему и для кого тишина «нестерпима»? Это Вы забыли сказать. Что значит: «тишина задыхалась в тесноте»? Может быть, так допустимо сказать о тишине в складе товаров, но, ведь, Вы описываете улицу поселка, вокруг его, вероятно — поля, а над ним «синечерное» небо. В этих условиях для тишины достаточно простора и «задышаться» тишине — нет оснований.

Все девять страниц рассказа написаны таким вздорным языком. Что значат слова: «довольно ответственно заявила»? «Осо-

бенно рачить было не для кого». Может быть, Вы хотели сказать «радеть»? Старинное, неблагозвучное и редко употреблявшееся слово «рачить» — давно не употребляется, даже «рачительный» почти забыто. В другом месте у Вас «теплилась ехидца». Ехидство от — ехидны, змеи. Змея — холоднокровна. Подумайте: уместно ли здесь словечко — «теплиться»? Что такое «здор»?

Наконец выписываю такую путаную фразу:

«Соревнование последнее время очень нажимала ячейка, к тому же как наяву снилось ей, что через эту победу стать лучшей производственницей в комсомоле и получить лишнюю пару недель отпуска в качестве премии дело не сугубо трудное».

Это не только небрежно, а и сугубо безграмотно, товарищ.

По прежним Вашим очеркам я мог думать, что Вам лет 25—28. Но этим мне кажется, что Вы — вдвое старше. И, кроме того, немножко заражены безразличным отношением к людям, к жизни, к таким ее фактам, как, например, социалистическое соревнование.

Почему я так много пишу по поводу Вашего безнадежно плохого рассказа на хорошую тему?

Вот почему: многие из Вас, кандидатов на «всемирную славу», торопясь «одним махом» доскочить до нее, хватаются за темы серьезного, глубоко-жизненного значения. Но темы эти не по силам большинству из Вас, и Вы их комкаете, искажаете, компрометируете, — засыпая хламом пустынных, бездушных или плохо выдуманных слов. За этими темами скрыты живые люди, большие драмы, много страданий героя наших дней — рабочего. Не скажет он, рабочий, спасибо вам за то, что вы уродуете действительность, которую он создает из крови и плоти своей.

Не скажет. А если скажет, так что-нибудь гораздо более резкое, чем говорю я.

IV

От рассказа требуются четкость изображения места действия, на вопрос о Вашей способности к художественной литературе, — трудно потому, что Вы написали не рассказ, а корреспонденцию, которая обличает легкомыслие некоего спеца — хозяйственника. Корреспонденция написана грамотно, вполне толково, приближается к типу очерка, это ее достоинство, но она многословна, растянута, — это плохо.

От рассказа требуется четкость изображения места действия, живость действующих лиц, точность и красочность языка, — рассказ должен быть написан так, чтоб читатель видел все, о чем рассказывает автор. Между рисунками художника «живописца»

и ребенка разница в том, что художник рисует выпукло, его рисунок как бы уходит в глубину бумаги, а ребенок дает рисунок плоский, набрасывая лишь контуры, внешние очертания фигур и предметов — и не умея изобразить расстояния между ними. Вот также внешне, на одной плоскости нарисовали Вы коммунаров и спеда, — они у Вас говорят, но не живут, не двигаются, и не видишь — какие они? Только о спеде сказано, что он — «средних лет» — да о парне — «рябоватый».

В начале рассказа Вы явно отступили от жизненной правды: спец должен был спросить парня или коммунаров о налете бандитов, о числе убитых, раненых, о хозяйственном уровне. У него были три причины спросить об этом: обычное, человеческое любопытство, опасение городского человека, хозяйственный интерес. То, что он не спросил об этом, должно было обидеть людей, которые подвергались опасности быть убитыми, такое равнодушие к их жизни неестественно и непростительно. Да и сами они должны были рассказать ему о налете — такие события не забываются в три дня. Если б Вы заставили Ваших людей поговорить на эту тему, это дало бы Вам возможность характеризовать каждого из них, да и спеда «показать лицом», изобразив, как он слушает, о чем и как спрашивает, — этим Вы очень оживили бы рассказ. Но Вы поставили пред собой задачу: обличить «спеда» и, торопясь разрешить ее сухо, написали вещь, в сущности, скучную, лишенную признаков «художественного» рассказа.

Торопились Вы так, что, местами, забывали обращать внимание на язык, и на второй странице у Вас повторяется слово «пред» несколько раз к ряду, чего не следует делать.

Отношение Ваше к теме тоже не есть отношение «художника». Художник, поставив пред собой цель — обличить легкомысленного человека, сделал бы это в тоне юмора или сатиры, если же он пожелал бы «просто рассказать» о факте вредительства — он бы разработал характер спеда более подробно и детально. А так, как Вы рассказали, для читателя неясно: кто же спец? Только ли легкомысленный человек, который живет по указке книжек, теоретик и мечтатель, плохо знающий живую действительность? Почти на всем протяжении рассказа он у Вас действует, как человек искренний, а тот факт, что, запутавшись и не желая сознаться в этом, он бежит из коммуны, — этот факт Вами психологически не оправдан.

Попробуйте написать что-нибудь еще. Например: изобразите Ваш трудовой день, наиболее сильные впечатления, характерные встречи, волнующие мысли. Если Вы это напишете просто, не очень щадя и прикрашивая себя, стараясь увидеть в каждом чело-

веке больше того, что он Вам показывает, — этим Вы как бы поставите перед собой зеркало и в нем увидите себя изнутри.

Человек Вы, видимо, серьезный, да и способный, корреспондент — уже и теперь — не плохой. Побольше читайте хороших мастеров словесности: Чехова, Пришвина, Бунина «Деревню», Лескова — отличнейший знаток русской речи! Вообще — следите за языком, обогащайте его.

V

Рассказ начат так:

«С утра моросило».

«По небу — осень, по лицу Гришки — весна».

«... черные глаза блестели точно выпуклые носки новеньких, купленных на прошлой неделе галош».

Очевидно, это не первый рассказ; автор, должно быть, уже печатался, и похоже, что его хвалили. Если так — похвала оказалась вредной для автора, вызвав в нем самонадеянность и склонность к щегольству словами, не вдумываясь в их смысл.

«По небу — осень», — что значат эти слова, какую картину могут вызвать они у читателя? Картину неба в облаках, таким оно бывает весной и летом. Осень, как известно, очень резко перекрашивает, изменяет пейзаж на земле, а не над землей.

«По лицу Гришки — весна». Что же — позеленело лицо или на нем, как почки на дереве, вздулись прыщи? Блеск глаз сравнивается с блеском галош. Продолжая в этом духе, автор мог бы сравнить Гришкины щеки с крышей, только что окрашенной красной краской. Автор, видимо, считает себя мастером и — форсит.

Сюжетная — фактическая — правдивость рассказа — весьма сомнительна. Трудно представить рабочих, демонстрантов, которые осмеивают товарища за то, что у него грязный бант на груди. Еще более трудно представить рабочего, который так сентиментален, что умирая посылает сыну кусок кумача, сорванный сыном же с одеяла.

Весь рассказ написан крайне торопливо и небрежно. Хуже всего то, что в нем заметно уверенно-ремесленное отношение к работе. Таких писателей ремесленников очень много в провинции; они пишут «рассказы к случаю» — годовщине Октября и пр. — так же, как в старину писались специально «рождественские» и «пасхальные» рассказы. Они, обычно, самолюбивы почти болезненно, не выносят критики и неспособны учиться. Им кажется, что они уже все знают, все могут, но любви к делу у них нет, литературный труд для них — средство заработка, «подсобный про-

мысел». Такой литератор вполне способен равнодушно сочинять размашистые фразы вроде следующей:

«Октябрь ушибнул Веруню за сердце, как молодой, кудрявый парень за сиську».

Пошлость таких фраз им совершенно непонятна, и они как будто уверены: чем грубее, животнее пошлость, тем более революционна.

В литературе рабочего класса таких «специалистов» не должно быть, и против размножения их необходимо бороться со всей беспощадностью, ибо они, в сущности, паразиты литературы.

VI

По рассказу «Мелочь» не могу сказать, «следует ли вам заниматься литературной работой», но этот рассказ Ваш вполне определенно говорит, что Вы подготовлены к ней слабо.

Рассказ — неудачен, потому что написан невнимательно и сухо по отношению к людям, они у Вас — невидимы, без лиц, без глаз, без жестов. Возможно, что этот недостаток объясняется Вашим пристрастием к факту. В письме ко мне Вы сообщаете, что Вас «интересует литература факта», т. е. самый грубый и неудачный «уклон» натурализма. Даже в лучшем своем выражении — у братьев Гонкур — натуралистический прием изображения действительности, описывая точно и мелочно вещи, пейзажи, изображал живых людей крайне слабо и «бездушно». Кроме почти автобиографической книги «Братья Земганно» Гонкуры во всех других книгах тускло, хотя и тщательно описывали «истории болезней» различных людей или же случайные факты, лишенные социально-типического значения. Вы тоже взяли случай Вашего героя, как частный случай, отнеслись к нему репортерски и, вследствие этого равнодушия, все герои Вашего рассказа не живут.

А если бы Вы взяли из сотен таких случаев непримиримого разногласия отцов — детей, хотя бы десяток, да, хорошо продумав, объединили десяток фактов в одном, этот, Вами созданный факт, может быть, получил бы серьезное и очень глубокое художественное и социально-воспитательное значение. Получил бы при том условии, если Вы отнеслись бы более внимательно к форме рассказа, к языку, а также не подсказали бы, что они должны делать каждый за себя, сообразно своему опыту и характеру.

Художник должен обладать способностью обобщения — типизации повторных явлений действительности. У Вас эта способность не развита. Об этом говорит и Ваш выбор темы для дру-

гого рассказа. В нем, как и в первом, тоже сын попа и тоже, поэтому, страдающий. То, что он убивает отца — нисколько не изменяет тему, она, в основном своем смысле, — противоречие отцов — детей, драматическое противоречие.

Но у попа, взятого не как случайная единица, а как тип — двое детей: один покорно идет за отцом, другой — решительно против него. Оба они тоже типичны.

Вы говорите: «В обоих случаях я взял живых лиц». Вполне возможно, что Вам представится 3-й, 5-й, 10-й случай, и что же? Так вы и будете писать рассказы на одну и ту же тему о разногласии попов с поповичами?

Уверяю Вас, что это будет скучно и Ваших рассказов не станут читать. Кроме того Вы скомпрометируете, испортите интересную тему.

Описывая людей, Вы придерживаетесь приема «натуралистов», но изображая окружение людей, обстановку, вещи, отступаете от этого приема. Колокольчик швейцара у Вас «плачет», а эхо колокольчика «звучит бестолково». Натуралист не сказал бы так. Само по себе это не существует, а является лишь как отражение кем-то данного звука и воспроизводит его весьма точно. Если колокольчик «плачет» — почему же эхо «бестолково»? Но и колокольчик не плачет, когда он маленький и звонит им рука швейцара, при этом условии он дает звук судорожно дребезжащий, назойливый и сухой, а не печальный.

«Сочный тенор» у Вас «вибрировал, как парус». Это — тоже не «натурально». «Звук рвущегося кровавого комка мяса» — слышали Вы такой звук? Под «комком мяса» Вы подразумеваете сердце живого человека — подумайте: возможно ли, чтоб человек слышал, как разрывается его сердце? И так на протяжении всего рассказа описательная его часть не гармонирует, не сливается с бесцветностью Ваших героев, — бесцветность, которая их принизила и омертвила. Впечатление такое: рассказ писали два человека: один — натуралист, плохо владеющий своим методом, другой — романтик, не освоивший приема романтики.

Затем я должен повторить, что художественная литература не подчиняется частному факту, она — выше его. Ее факт не оторван от действительности, как у Вас, но крепко объединен с нею. Литературный факт — вытяжка из ряда однородных фактов, он — типизирован и только тогда он и есть произведение подлинно художественное, когда правильно отображает целый ряд повторных явлений действительности в одном явлении.

Книгу Вашу прочитал я, — книга не хуже других на эту тему. Она была бы лучше, если б Вы отнеслись более серьезно к языку и писали бы проще, а не такими слащавыми фразами, как, например: «Не упругатся под ситцем груди девицы». Такие фразы напоминают старинные бабьи причитания. Глагола «упругить», кажется, нет в нашем языке.

Такие фразы, как: «Все Наташа пред глазами с освещенным лицом стояла» — не очень грамотны.

«Рвется сердце Василия в завороженную жавороночной песней высь» — это очень плохо — и говорит о Вашей претензии писать «поэтически», красиво. А вы пишете такие несуразности: «Мечта о перевороте безжалостно смята царизмом, как бывает сорван порывом бури нежный пух одуванчика».

Революционное движение 905—6 г. нельзя и смешно сравнивать с «одуванчиком». Тут уж Вы обнаруживаете малограмотность социальную.

А для того, чтобы разнести семена одуванчика, — не требуется «порыва бури», а достаточно дуновения ребенка.

В день, когда объявлена была война с Германией, о выступлении Англии еще не было известно.

Соборный протопоп не мог дать «крестом сигнала к отходу поезда», это — дело не его компетенции, а дело начальника станции.

Кровь «из рассеченного виска» у Вас «падает доскутками». «Из-под рассеченного века светится глаз» — ясно, что Вы пишете о том, чего не видели, а этого делать не следует.

«Не белы снега в поле забелелися» и «Снеги белые, пушисты покрывают все поля» — это две песни разные по содержанию, а Вы соединили их в одну.

Монашество не обряжалось в золотые вышивки, в позументы и мишуру.

Таких обмолвок, ошибок, нелепостей в книге Вашей очень много, и они ее портят.

Затем: Вы не думаете о читателе, о том, чтобы ему было легко понять Вашу речь. Вы пишете: «Баба у Прохора на дрожжах». Что это значит? Что она — рыхлая? Или перекисла?

Сноха спрашивает свекра: «Самовар поспел — чего заваривать?» Обычно заваривают чай. Но если у Мирона Удалова пили буквицу, зверобой, какао, кофе, сушеную малину или сбитень, так Вы обязаны были сказать это читателям.

Пускать «коловороты зеньками» — это не всякому понятно.

Коловорот — инструмент, а «зеньки» — это не правильно, правильно будет «зенки» от слова «зеница».

Если в Дмитровском уезде употребляется слово «хындуги», так ведь не обязательно, чтоб население остальных 800 уездов понимало что значит это слово.

Тоже следует сказать и о слове «дефти» вместо — девки.

У нас в каждой губернии и даже во многих уездах есть свои «говора», свои слова, но литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски.

Вы пишете для людей огромной, разнообразной страны, и Вы должны твердо усвоить простую истину: нет книги, которая не учила бы людей чему-нибудь. Другая истина: для того, чтоб люди быстрее и лучше понимали друг друга, они все должны говорить одним языком.

У вас говорят: «Я не из счетливых», — что это значит?

Таких словечек Вы насовали в книгу очень много, и они ее не украшают.

Пленный мадьяр говорит у Вас по-украински: «Та я не можу».

Весьма часто Вы ставите слова не в том порядке, как следует: «горничная, с накрахмаленной на голове наколкой». На голове не крахмалят.

Если Вы намерены писать «романы». — Вы обязаны избавиться от подчеркнутых недостатков языка и небрежности, с которой Вы работаете.

И остерегайтесь выдумывать «отсебятину». У Вас сорокалетний мужик, женатый второй раз на девушке и вообще лакомый до женщин, не различает ночью, со сна, тещу свою, женшину, которой за 40 и, значит, истощенную, от своей — 18-летней жены. Это — так маловероятно, что Вам не поверят.

Вы хотите убедить меня, что «Карл Маркс и Ленин — ошибались» и «категорически» заявляете, что «социализма на земле построить — нельзя». В доказательство невозможности этой, Вы приводите такой расчет:

«Земной шар может прокормить только 8 миллиардов людей, сейчас людей 2 миллиарда. То через 140—180 лет земля будет иметь зловещую цифру — 8. Что же будет тогда?»

Благодарю Вас за Ваши заботы о просвещении разума моего. Учиться я люблю больше, чем учить, чего и Вам искренно желаю. Но должен сказать, что Вы учите — плохо.

Расчет Ваш не доказывает, что «социализма» на земле построить нельзя», а говорит, что социализм может существовать только 140—180 лет. А что же будет дальше? С полной уверенностью могу сказать Вам: не будет дураков и невежд. Уже лет через пяток-десяток наверное умрет малограмотный невежда, который научил Вас рассуждать о социализме так, как Вы рассуждаете.

Он, болван, должен бы сказать Вам, что 130 лет тому назад — в 1708 году, англичанин Томас Мальтус напечатал книгу «Опыт о законе народонаселения». В книге этой он доказывает, что население земного шара увеличивается быстрее, чем средства существования. Доказательства его целиком опровергнуты не только К. Марксом, но и буржуазными учеными Кэри, Бастиа, Гербертом Спенсером. Опровержения эти, в общем, сводятся к тому, что чем разумнее — интеллектуальнее — животное, тем медленнее размножается оно. Слон дает одного детеныша за 20—24 месяца, боров оплодотворяет до 40 самок, а свинья беременеет только 8 месяцев и приносит до десятка поросят.

В человеческом обществе мы видим то же самое: чем менее культурны люди, — тем больше у них детей; население деревень везде и всюду более плодовито, чем население городов. Крестьянки рожают почти ежегодно, а вот богатая и зажиточная буржуазия все более широко применяет систему «двух детей». Отсюда ясно, что бессмысленное размножение людей может быть регулировано и уже регулируется разумом.

Но дело не только в этом, а и в том, что, когда писал Мальтус и даже Маркс, они не могли предвидеть того сказочного быстрого роста науки и техники, которые, непрерывно развиваясь, обогащают человечество все более. Распространение автомобилей делает ненужным лошадей, и огромные пространства земли, которая засеивалась овсом, отходят под пшеницу, под рожь. Науки микробиология и химия, вмешиваясь в сельское хозяйство, ставят целью своей увеличение урожаев и успешно добиваются этой цели. Химия дает огромные количества удобрений, истребляет вредителей хлеба, насекомых — саранчу, «кузьку», «гессенскую муху» и пр., а также грызунов — суслика, полевую мышь и др. Повысить урожай хлеба, количество питательных веществ — это уже в силе и воле человека. Вам, крестьянину, все это надо бы знать, и знать это Вам гораздо полезнее, чем подсчитывать, да еще и неверно, рост населения. Дело это не Ваше и совершенно зря «взбрело в башку» Вам, как говорил отличный знаток крестьянства, писатель Глеб Успенский.

Тот, кто Вас познакомил с теорией Мальтуса, не сказал Вам,

что теория эта очень понравилась помещикам, фабрикантам и вообще богатым людям. Она дала им возможность сваливать вину свою за нищету рабочих людей на самих рабочих и крестьян; опираясь на Мальтуса — богачи доказывали, что причина нищеты крестьянства и рабочего класса — не в малоземелье, не в плохой обработке полей, не в грошевой заработной плате и вообще — не в грабеже богачей, а именно в том, что трудовой народ быстро размножается. Далее они доказывали то же, что и Вы: нет никаких мер и способов улучшить бедственное положение трудового народа, ничем нельзя помочь ему жить лучше и даже не следует помогать. Мальтус считал вредной даже общественную помощь бедным, находя, что она только плодит нищих.

Так вот какие идеи проповедуете Вы, крестьянин «косопузой» — как вы пишете — губернии. Очень жалею людей, которым внушаете Вы эти идеи. А человек, который внушил эти идеи Вам, — он, на мой взгляд, негодяй, и — враг трудового народа.

Вам бы, вместо того, чтоб проповедывать подленькие глупости, лучше заняться чем-нибудь другим. Подумать бы о том, сколько ни на что ненужного кустарника и дерева, негодного в дело, истощает землю, сколько ценных соков ее поглощают сорные травы, как вредят они хлебу, как много пахотной земли уничтожают овраги, как много у нас болот, которые надобно осушить, как много засушливых мест, которые можно бы оросить водами рек, которые бесплодно исчезают в морях. — и еще о многом Вам, крестьянину, следовало бы подумать. И поучиться следует. А то Вы Маркса и Ленина критикуете, а ни того, ни другого не читали и о научном социализме не имеете никакого представления.

Между прочим, подумали бы и о том, как мелкое частное хозяйство истощает землю и подсчитали бы, как велик для государства вред некультурного, неумелого землепользования.

IX

Книгу Вашу прочитал. Грамотная книга, и хотя ее тема многократно разрабатывалась, измята, огрублена, все же Вашу книгу читал с интересом. Возможно, что интерес этот возбужден личной встречей с Вами и отразился на отношении к Вашему роману. Но все-таки, в общем, роман этот я не могу признать удачным.

Уже в титуле романа чувствуется поэтения автора на своеобразие, а затем почти на каждой из 240 страниц убеждаешься,

что это своеобразие идет «от ума», далось автору с трудом и сильно помешало: автору — быть более искренним, книге — более убедительной. Вам хотелось написать «не как другие», но, стремясь к этому, насилуя себя, Вы написали хуже того, как могли бы. Разумеется речь идет не только о форме, хотя и форма может испортить материал любой ценности.

«Отца» Вы взяли поверхностно, как берут и изображают его все молодые наши литераторы: отец — социальная особь, которую отличает от сына только «умонастроение», которое образовалось на почве бытовых привычек, навыков и т. д. Мне кажется, что отца, как «тип», пора уже рассматривать пристальнее, глубже, не только как социальную «классовую» особь, но как особь биологическую. Даже в том случае, когда отец прошел университет, прочитал все лучшие книги — над всеми его «знаниями» преобладает, в огромном большинстве случаев, многовековой социальный опыт его предков, а этот «опыт веков» в человеческом обществе не мог не иметь определенного биологического влияния. Я говорю не о наследственности, а о чем-то более глубоком, более консервативном, что прячется за «умонастроением», делая отцов и детей органически неспособными понять друг друга.

Как литературный тип — отец должен глубоко чувствовать, что он защищает порядок жизни, установленный веками, порядок для него столь же органически необходимый, как рыбе — вода, червя — земля, и должен чувствовать, что революционная воля его сына возникла именно для того, чтоб разрушить, уничтожить и почву, и атмосферу, и все, от крупнейшего до ничтожно-мелочного, в чем он, отец, приспособился жить, без чего он жить не может.

Сын, как тип, должен воплощать революционную волю, для которой цель — в будущем, а в настоящем, которое воплощает и защищает отец, нет для него, сына, ничего, что не мешало бы росту его воли, не затрудняло бы ее работу.

Столкновение Ивана Пятова со своим сыном Петром Пятовым — это частный случай, ничтожный эпизод трагедии, назревающей в наши дни, и если мы хотим хорошо почувствовать крупнейшее, историческое значение этой трагедии, мы должны изобразить основных ее героев именно как типы, как столкновение двух, совершенно непримиримых мироощущений. Возможно, разумеется, дробления этой основной темы, но дробить надобно так, чтоб подлинный и глубокий смысл темы был освещен ярко. Основной же смысл — прост: беспощадная борьба за

и против «священного института частной собственности» — источника всех несчастий жизни, всех преступлений, всех уродств.

Представьте себе сына — белогвардейца случайного, «мобилизованного», который вдруг понял или постепенно понимает, что его рукою истребляются люди, — может быть его друзья — только для того, чтоб существовало частное хозяйство папашы, как оно существовало века.

Возведите это частное хозяйство на степень кошмара, созданного отцом по силе его веры в это хозяйство, как единственно прочную основу жизни, изобразите детей как жертв этого кошмарного плена и жизнь их, как тюрьму под открытым небом. Таких тем очень много.

Теперь — по поводу стиля Вашей книги. «Бессмысленная, вялая какая-то, скучная смерть веяла ровным дыханием» — пишете Вы на 129 стр. Это — очень характерная фраза для Вас. А ведь в ней, несмотря на три определения понятия «смерть» — нет ясности. Сказать «вялая смерть» и прибавить к слову «вялая» — «какая-то», это значит подвергнуть сомнению правильность эпитета — «вялая». Затем Вы добавляете — «скучная» — к чему это нагромождение? «Редкие и безлистные еще липы» — почему «еще липы», а не «еще безлистные», что гораздо проще. Очень запутаны слова на стр. 166—7. И все это напутано Вами в поисках своеобразия, а искать Вам следовало простоты и ясности языка.

На вопрос Ваш: «Могу ли я писать в наше время?» — я ответил бы утвердительно, если бы Вы, в письме, не заявили о «разладе» между Вашим «мировоззрением и мироощущением».

Выше я рассказал, как понимается мною этот «разлад» — болезнь, видимо, нередкая среди людей Вашего поколения и Вашей социальной среды. С моей точки зрения — крайне пагубно для человека, если в нем совмещаются — или противоборствуют — революционное «умонастроение», с «мироощущением» его отца, а, очевидно, это так: «от ума» человек — революционер, а по инстинкту, по эмоциям — контрреволюционер. Иначе я не могу понять «разлада». И, само собою разумеется, что при наличии такого «разлада» Вы едва ли в силах будете работать согласно требованиям эпохи, с пользой интересам, выразителя воли эпохи — рабочего класса.

Затем Вы сознаетесь: «Я не могу писать без фокусов, меня фокусы увлекают, за фразой я забываю цель». Это — плохо. Очень. Сообразите: кому нужна Ваша фраза, строить которую просто и ясно Вы не умеете? Да если бы и умели — кому нужна фраза, смысл которой, наверное, будет двойственным, вслед-

ствие разлада Вашего умонастроения с Вашим мироощущением? Вы пишете: «Я основательно штудировал философов», — так ли основательно, как это кажется Вам? Думаю, что Вы ошибаетесь, — иначе Вы не поставили бы Шервуда Андерсона, у которого нет никакой «философии», а прямая зависимость от плохо понятого им Чехова, — не поставили бы Андерсона рядом с Гамсуном, который пришел к признанию рока и необходимости покоряться ему, как это явствует из его последних книг: «Соки земли», «Санатория Торахус», «Бродяги».

Странное впечатление вызвало у меня Ваше письмо. Поколение Ваше вошло в жизнь торжественно, «в огне и буре». Мир старый встретил вас враждой и ненавистью, которые, казалось бы, могут возбудить только сильные люди. Задачи, которые вы решаете, огромны и должны бы всецело владеть умом и чувством Вашими. Дело, которому Вы служите ежедневно — дело грандиозное, небывалое по смелости, — несмотря на его кажущуюся мелочность и раздробленность. В руках ваших тот Архимедов рычаг, которым только и можно «перевернуть мир».

И — вдруг — разлад между «умонастроением» и «мироощущением». Странно.

Х

Я думаю, что такие работы, как «Язык селькора», преждевременны и даже могут оказать немалый вред нормальному росту языка. В работе Вашей желаемое предшествует существу, и торопливость выводов, основанных на материале сомнительной ценности, ведет к тому, что Вы принимаете «местные речения», «провинциализмы» за новые оригинальные словообразования, — тогда как материал Ваш говорит мне только о том, что великолепнейшая, афористическая русская речь, образное и меткое русское слово — искажаются и «вульгаризируются».

Этот процесс вульгаризации крепко и отлично оформленного языка — процесс естественный, неизбежный; французский язык пережил его после «Великой революции», когда бретонцы, нормандцы, провансальцы и т. д. столкнулись в буре событий; этому процессу всегда способствуют войны, армии, казармы. Зоя опорооченная Демьяном Бедным весьма ценная книга Софьи Федорченко «Народ на войне», а также превосходная книга Войтоловского «После войны» были бы крайне полезны для Вас, видимо искреннего и пламенного словолюбца.

Мне тоже приходится читать очень много писем рабселькоров, «начинающих» литераторов, учащейся молодежи, и у меня именно такое впечатление: русская речь искажается, вульгари-

зуется, ее четкие формы пухнут, насыщаясь местными речениями, поглощая слова из лексикона нацменьшинств и т. д., — речь становится менее образной, точной, меткой, более многословной, вязкой, слова весьма часто становятся рядом с смыслом, не включая его в себя. Но я уже сказал, что это — процесс естественный, неизбежный и, в сущности, это — процесс обогащения, расширения лексикона, но покамест, на мой взгляд, еще не процесс словотворчества, совершенно сродного духу нашего языка, а — механический процесс.

Вы, как вижу, думаете иначе, Вы торопитесь установить и утвердить то, что Вам кажется словотворчеством; чисто внешнее обогащение речи Вы принимаете как творчество. Весьма много людей буржуазного класса нашего говорили по-французски, но это отнюдь не делало их более культурными людьми.

Ваша работа говорит мне, что современный грамотный крестьянин владеет языком гораздо хуже, чем владели мужики Левитова, Глеба Успенского и т. д., что речь селькора беднее образностью, точностью, меткостью, чем речь солдат Федорченко и Войтоловского.

Нельзя противопоставлять «сардонический», «мефистофельский» смех «медовому», «колокольчатому» смеху девушки. Девушка-то еще не научилась смеяться «сардонически». Сардонический и медовый — это языки людей совершенно различных по психике. Медовый смех — не новость. Вы его наверное найдете у Андрея Печерского «В лесах», и найдете в старинных песнях:

„Ты мне, девка, сердце сомutilа
Злой твоей усмешкою медовой“...

сказано в переводе песен Вука Караджича.

Также нельзя противопоставлять «голубой» ливень «жестокому», — хотя это различные отношения к одному и тому же явлению, но ведь и лирически настроенный крестьянин может назвать ливень «голубым», когда дождь идет «сквозь солнце».

«Колокольчатый» смех — очень плохо, потому что не точно, колокола слишком разнообразны по размеру и по звуку, «медный» смех — воображаете Вы? Правильно сравнивают смех с бубенчиками, особенно — если их слышишь издали.

Словечко «милозвучно» Вы напрасно считаете новым, оно есть у Карамзина, а, кроме того, Вы его, наверное, встретите в «кантатах», которые распевались крепостными хорами. В кантатах этих встречаются «лилейнолицые девицы», «зефирно нежный голосок». В 903 г. мужики под Пензой пели: «Зефир тихий по долине веет с милой страны, с родной Костромы».

Слово «обман» Вы взяли из разных областей; у Фета и др. поэтов он «сладостен» и «прекрасен», по преимуществу в области романтической, а у селькоров — в области отношений социальных. Но ведь и селькоров не избежать «сладостных» обманов.

Мне кажется, что, работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно четкие, меткие пословицы и поговорки. «Пословица век не сломится». Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью. И замечу, что в ней антропоморфизм¹ не так обилен, как в примерах, которыми Вы орудуете, а ведь антропоморфизм, хотя и неизбежен, однако, стесняет воображение, фантазию, укорачивает мысль.

Все это сказано мною из опасения такого: если мы признаем, что процесс механического обогащения лексикона и есть процесс творчества новой речи, будто бы отвечающей вполне согласно новым мыслям и настроениям, — мы этим признанием внушим рабселькоров и молодым литераторам, что они достаточно богаты словесным материалом и вполне правильно «словотворят». Это будет неверно, вредно.

Дело в том, что современные молодые литераторы вообще плохо учатся и туго растут поэтому. Один из них сказал: «Когда сам напишешь книгу, пересташь читать». Должно быть, это верно: есть целый ряд авторов, которые, написав одну книгу, неплохо, вторую дают хуже, а третью — еще хуже. Критика не учит, как надобно работать над словом.

XI

Рассказ Ваш — плох, но хорошо, что Вы сами чувствуете это; а хорошо это потому, что говорит о наличии у Вас чутья художественной правды. Рассказ именно потому и плох, что художественная правда нарушена Вами.

Нарушили Вы ее неудачно выбранным Вами языком. Вы взялись рассказать людям действительный случай озверения «хозяйственного мужичка», который метит попасть в мироеды, — ради этой цели он предает бело-бандитам своих односельчан и своих детей, комсомольцев. Совершенно правильно Вы отметили, что хотя герою Вашему жалко жену, убитую белыми, и еще более жалко сына, убитого ими же, — все-таки это чувство жалости не мешает ему попытаться еще раз повредить советской

¹ Антропоморфизм (от греческих слов антропос — человек и морфе — форма) — наделение (животных, растений) человеческими свойствами.

группе односельчан и, в их числе, второму сыну, которого он, отец, убивает уже своею рукой.

В той беспощадной и неизбежной борьбе отцов и детей, которая началась, развивается и может окончиться только полной победой нового человека, социалиста, — случай, Вами рассказанный, все же случай исключительный по звериной жестокости отца и по драматизму. Рассказать этот случай Вам следовало очень просто, точными словами, серьезнейшим и даже суровым тоном. Если б Вы это сделали, рассказ Ваш зазвучал бы убедительно и приобрел вместе с художественной правдой социально воспитательное значение.

Вы рассказали многословно, с огромных количеством ненужных и ничего не говорящих фраз, как например:

«Вздрогнула мортира». «Мортира заплевалась огнем лихорадочно часто». «Замелькали убегающие фигуры. Скрылись в деревню».

Говорить такими рваными фразами не значит изображать — делать описываемое видимым для читателя. Драматизм рассказа такими сухими формами Вы уничтожили.

Участие «мортиры» в бою — весьма сомнительно. Как учитель, Вы должны знать, что «заплеваться» значит — заплевать себя.

Герой ваш слишком многоречив и психологичен. Он у Вас рассуждает над трупом сына:

«Лучше посмотреть. Может, не он. Может... Нет, он, Алеша. Вот и родинка на щеке. И кудри... такие белые-белые, и кровь грязными сгустками в волосах».

Это — фальшиво. Вы обычно приписали такие нежности Петру — люди его типа, чувствуя, не рассуждают. Петр — полужеловек, способный убить сына своего за то, что сын не хочет жить той дикой, звериной жизнью, которой привык жить он, отец.

Когда Вы начинали писать рассказ, — Вы знали, каков его конец — Петр убьет Александра. Это обязывало Вас рисовать фигуру предателя и сыноубийцы в тоне именно суровой сдержанности, резкими штрихами, без лишних слов. Вы же приписали Петру мысли и чувства, которые раздваивают его, показывая читателю то сентиментального мужичка, выдуманного писателями-«народниками», то — зверя, — и в обоих случаях он у Вас неубедителен. Кратко говоря — Вы испортили хороший материал.

Это случилось с вами потому, что Вы придерживались правды только одного известного Вам факта. Но так же, как из одной

штуки даже очень хорошего кирпича нельзя построить целого дома, так описанию одного факта нельзя придать характер типичного и художественно-правдивого явления, убедительного для читателя.

Если б Вы, принимаясь за работу над рассказом, вспомнили, что Петр Керин — это тот самый мужик, который, стремясь остановить ход истории, отстаивая свое вредное для нашей страны, некультурное, зря истощающее землю индивидуальное хозяйство, расстреливает комсомольцев, поджигает колхозы и всем, чем только может, вредит росту и развитию новой культуры, новой истории — если б Вы вспомнили об этом многообразном, но всюду одинаково диком и озлобленном человеке, Вы тогда создали бы художественно правдивый, убедительный тип представителя племени закоренелых анархистов, осужденных историей на гибель. Художественная правда создается писателем так же, как пчелою создается мед: от всех цветов понемножку берет пчела, но берет самое нужное.
